THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PJ5129
.W373
S517
1927

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00008295506

Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/spekulianty00arsh

О ВАРШАВСКИЙ

СПЕКУЛЯНТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И.Р-ЕВ

О. ВАРШАВСКИЙ

PJ5129
.W373
S517
1927

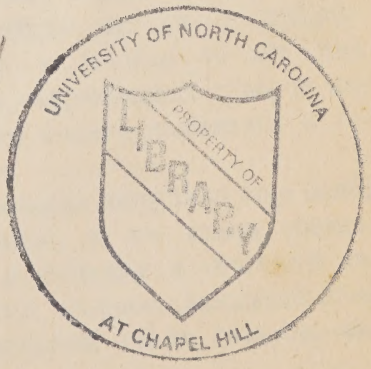
СПЕКУЛЯНТЫ

ПЕРЕВОД С ЕВРЕЙСКОГО
Я. СЛОНИМА

РЕДАКЦИЯ
АНДРЕЯ СОБОЛЯ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

SPEKULIANTY



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ★ 1927 ★ ЛЕНИНГРАД

Главлит 88535.
Гиз 19950. Тир. 4.000

Зак. 2097.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Еврейское слово «Schmugl», немецкое «Schmuggel» — означает собственно контрабанду, т.-е. тайный беспошлинный провоз через границу товаров.

Но во время войны и оккупации немецкими войсками Польши, Литвы и других областей бывшей Российской империи слово «Schmuggel» получило другой, более распространительный смысл.

Немцы, как известно, в своем стремлении выкачать все продовольствие из оккупированных областей, запрещали не только всякую торговлю с'естными припасами, но и провоз таковых, а также обработку питательных и жировых веществ. Лица, занимавшиеся провозом запрещенных к продаже продуктов, приравнивались к контрабандистам и носили то же имя «Schmuggler», а самый провоз запрещенных товаров назывался «Schmuggel». Этим же именем назывался и товар, запрещенный к провозу.

Впоследствии слово «Schmuggel» получило еще более распространительное толкование, и им стали обозначать не только провоз, но и выделку и торговлю запрещенным товаром, а всякий человек, занимавшийся провозом, выделкой или продажей таких товаров, назывался «Schmuggler».

Оба эти слова получили право гражданства и в польском и еврейском языках.

Таким образом, слово «Schmuggel» вполне передается словом «спекуляция» в том специфическом смысле, в каком оно понималось у нас в первые годы пролетарской революции, в эпоху господства заградительных отрядов, а слово «Schmuggler» вполне покрывается нашим словом «спекулянт», понимаемом в том же специфическом смысле.

Нет только подходящего слова для понятия «Schmuggel» в смысле запрещенного к провозу товара, почему я обычно перевожу его словом «товар», «контрабандный товар» или просто «шмугель».

Я считаю это тем более допустимым, что в оккупированных областях это слово получило право гражданства и в русском языке.

Содержание романа — жизнь огромных масс городского населения Польши, вовлеченных в спекуляцию, ставших вольными или невольными спекулянтами во время немецкой оккупации Польши. На протяжении 57 глав пред нами проходит целая галерея спекулянтов разных мастей и оттенков, и все они вместе представляют собой коллективного героя этого романа. Но самое важное в романе — не эти личные переживания отдельных спекулянтов, а та массовая психика спекулятивной горячки, которая охватила всех и все. В этом смысле роман имеет историческое значение: он фиксирует целую полосу (не изжитую и поныне) в жизни городского населения в эпоху империалистической войны и оккупации.

У О. Варшавского нет своего стиля. Но этот недостаток в избытке вознаграждается разнообразием и сочностью диалектов, на которых говорят его герои. Еврей, ломающий свой язык на немецкий лад; немец,

примешивающий к своей речи польские слова; поляк, старающийся говорить по-немецки; грубый жаргон еврейских извозчиков, которые обмениваются бранными словами в порыве нежности, — все это придает языку Варшавского ту красочность, которая совершенно не поддается переводу.

Да не удивляется читатель, если ему придется встретить здесь неожиданные для него и непривычные для русского слуха выражения и обороты речи.

Я. С.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Извозчик Пантель вытягивается под одеялом, высовывает оттуда руку, ворочается с боку на бок, затем садится и начинает сладко зевать.

В комнате темно. Только сквозь щели ставен пробивается слабый предутренний свет.

— Еще очень рано, — бормочет он, протирая глаза и оглядывая все углы комнаты, окутанной мраком и пронизанной холодом. Он замечает морозные узоры на стеклах, и сразу ему становится не по себе. Повернувшись лицом ко второй кровати, он кричит:

— Глика, Глика!

— А, что? — быстро и стремительно спохватывается жена и застывает сидя, широко открыв рот, еле продирая глаза.

— Гляди, снова мороз, — показывает он ей на окна. Затем, засунув обе руки за ватную фуфайку, в которой он обыкновенно спит зимою, он с наслаждением почесывает правой рукой грудь, а левой — верхнюю часть спины.

— Что ты сказал? — переспрашивает жена.

— Ни гроша денег, — отвечает он.

— Но надо же купить хоть немножко угля и черный хлебец.

— Ну и мороз! — вспоминает он вдруг снова, как бы желая что-то отогнать от себя.

Поспешно вытаскивает он руки из-под фуфайки, ложится снова и натягивает на себя одеяло повыше носа. С другой кровати смотрит на него жена, и пар идет от ее лица и тела.

— Ну, что будет? а? — спрашивает она. Но она знает, что на этот вопрос он никакого ответа не сможет дать.

Из другой комнаты — из кухни — доносится детский голос:

— Отодвинься! Смотри, как он развалился! Иначе тебе уж нельзя, как только на плечах?..

— Закрой свою глотку и дрыхни! — отвечает более грубый голос.

— Холеру на тебя... — слышится снова первый детский голос.

— Холеру вам обоим в кости! — кричит и Пантель. — Во сне и то не могут успокоиться.

— Но что будет? что же будет? — тихо повторяет Глика свое. — Булочница уж не дает в кредит ни корочки хлеба... Хоть бы один уголек горел в печке... — И, повторяя про себя эти слова, она начинает чесать тело и голову и теребит ночной чепчик такими движениями, точно хрен трет.

Пантелю становится жарко под одеялом, натянутым по самый нос; он приподнимает краешек одеяла, и холодный воздух щиплет кожу. По всему его крепкому телу пробегает живительная холодная струя. Но тотчас же он снова замечает морозные узоры на окнах, прячет снова под одеяло похолодевшую руку, плотнее натягивает на себя одеяло и чувствует, как сладостная теплота разливается по всему его телу.

И вскоре начинает потеть одна рука, потом другая, затем все тело. Кончики коротких, жестких черных волос блестят на голове и щеках, как будто покрываясь росой. Он приводит в движение свои короткие

крепкие ноги, то поджимая их, то вытягивая во всю длину, как будто желая, подобно жеребенку, пуститься вскачь по лугу, — и снова с'еживается и снова вытягивается во весь рост.

— Провались ты сквозь землю, Пантель-вор! — кричит на него жена; — возьми да разорви на кусочки нижнюю наволку, — она и так еле держится...

Но «Пантель-вор» теперь ничего не слышит. Он беспрестанно ерзает по подушкам и перине, он чувствует себя, как рыба в воде... А может быть, он в это время где-то далеко, далеко... может быть, он думает о заработке...

— А тебе бы не мешало обзавестись новой душегрейкой, — неожиданно отозвался он с такою мягкостью в голосе, на какую только способен он, — эта уж совсем порвалась.

Жена ничего не отвечает, и он умолкает. Но голова не бездействует — и подкрадываются сладкие мечты о новой лучшей жизни, о больших, больших заработках.

И ей тоже приходит в голову, что теперь именно наступил самый критический момент... довольно уж сидеть сложа руки, — пора взяться за что-нибудь... Ведь «узкоколейка» теперь уж ничего не дает, разве только воду для каши... А тут уж все пообносилось, истрепалось, изорвалось... Нужно белье, нужна обувь, нужны дрова, угли... Все нужно да нужно...

А у Пантеля уже план готов. «Ничего — бог поможет»... и он расстается с постелью, и уже не пугает его холод...

Длинными, как полотенца, портянками он обматывает ноги, натягивает сапоги и чуть свет отправляется в конюшню поить лошадей.

ГЛАВА II

Утром приходит Копель. В комнате холодно. Оконные стекла сверху донизу затянуты морозной пеленой. И Глика, глядя на окна, думает про себя: «ну и темный же сад!». На деревянной кушетке все еще спят оба сына Пантеля. Возле печки разбросаны в беспорядке сковородки, да чугунный горшок стоит, наполненный водою.

Копель, войдя, постукивает сапогом о сапог и дует в кулак.

— С добрым утром, — говорит он, и в холодной комнате голос его звучит, как в пустой бочке. — О, ва! Ну и морозец! — Он подходит ближе к столику, стоящему у окна, освобождает свои уши из-под большой плюшевой шапки и садится на стул.

Пантель в это время шепчет слова молитвы, но не может удержаться и прерывает молитву вопросом:

— Что? Не поехал на узкоколейку?

Пантель расхаживает по комнате, закутанный в желто-грязный «талэс»*, и под складками «талэса» чувствуется, как пышет здоровьем его небольшое, но крепкое тело.

— Когда не с кем, — отвечает Копель, покашливая; видать, что он уж пропустил рюмочку-другую. — Кто это, скажи на милость, поедет в такой мороз!

Пантель теперь уж торопится поскорее окончить молитву. Он поспешно сбрасывает с себя талэс, надвигает шапку по самые брови и хватает Копеля за ворот его мехового полушубка.

— Знаешь, — говорит он, и при этом ноздри его ширятся, мускулы лица сокращаются от еле сдержи-

---

* Молитвенное одеяние евреев — белое с черными полосами.

ваемого радостного смеха, и вокруг глаз сбегаются бесчисленные маленькие морщинки, — ге, ге! Этой ночью я кой-что обмозговал. Пойдем разыщем Янкеля и затем завернем к рыжему Эле.

Когда они вышли на улицу, Копель был красен, как рак.

— Ты что-нибудь разнюхал?.. — обращается он к спутнику тихо, но с таким воодушевлением, что его можно услышать на противоположном конце рынка.

— Будем у Эли, поговорим, — старается Пантель пока что сохранить тайну.

— Смотри, какой белый мороз сегодня, — и он ни с того ни с сего начинает вдруг разговор о погоде: «пускай, мол, он не думает, что я, Янкель, такой любопытный...». При этом, проходя мимо одного дома, он указывает ему на ближайшие деревья, которые ослепляют улицу своей белизной.

Пантель при этом пророчествует, что будущим летом будет большая «эпидемия» на фрукты. Копель утвердительно кивает своей большой головой, но мысли его заняты другим:

«Не раздобыл ли он где-нибудь клада?.. может быть, сцапал лошадь?.. кто его знает?». И, вытаращив глаза, он сбоку глядит на маленького еврея, который идет рядом с ним по левой стороне, ухмыляясь сквозь усы и шлепая своими широкими штанами при каждом шаге.

Рюмочки уже на столе, и коржи, которых никто не умеет приготовлять так хорошо, как рыжий Эля, лежат на разноцветных тарелках. Держа рюмочки в правой руке, они левой подпирают голову, подносят рюмки к губам, раскрывают рот, затем опрокидывают голову, и рюмки уже снова стоят порожними на столе. Закусив, они усаживаются.

— Коротко говоря, дело вот в чем, — приступает наконец Пантель к изложению своего плана. — Что за польза ехать на узкоколейку? Что это нам может дать?.. Ждешь не дождешься пассажира, и вся печонка из тебя вспухнет, пока увидишь его... Ходи по ночам и стучи им в ставни, а они только через час тебе ответят: «кто там?..». Слышишь, чтобы нечистая сила забралась в тело их матерей!.. На тысячу чертей они нам нужны!.. Есть у нас три каретки с навесами? Не так ли? Так давайте составим компанию и начнем совершать поездки в Варшаву. Поверьте, что́ мы ни повезем, все будет прибыль, — чтоб нам всем троим так жить на свете! Один только месяц, если все сойдет благополучно, — и мы все станем на ноги! Что — не правда ли? Га?

Пантель умолк и пристально глядит на обоих приятелей, какое, мол, впечатление произвели на них его слова, особенно на Копеля.

Последний, как только Пантель перестал говорить, вскочил и опустил руку на его плечо с такой силой, что пол задрожал:

— Холеру тебе в голову! — гремит он своим басом, — клянусь всем святым, что ты прав!

— Это неглупо, — бормочет наконец и Янкель, который от природы не очень словоохотлив, хотя в делах кулачных он постоянно далеко не на последнем месте.

— А узкоколейку тоже не следует выпускать из рук, — говорит он возбужденно, воодушевленный и своим планом и в особенности одобрением Копеля, на которого он главным образом и рассчитывал...

«Надо будет закупить немножко муки и хлеба... а Янкель такой же, с позволения сказать, богач, как и я»...

— Мы уже как-нибудь распределим работу, — продолжает он, — один останется здесь, а двое будут в раз'езде; когда эти оба приедут обратно, будем меняться.

— Это совсем неглупо, — повторяет Янкель и опрокидывает вторую рюмку, которую Копель тем временем налил.

— Да будет удача и благословение в нашем деле! — говорит Копель и тоже выпивает вторую рюмку.

И так они выпивают по третьей и четвертой, и теплота разливается у них по всем жилам, проходит по всему телу. Извозчики ближе придвигаются друг к другу, вплотную сталкиваются три плюшевые шапки.

Они долго еще обсуждают все подробности задуманного ими предприятия. Когда поднимаются с мест, собираясь уходить, они еще раз выпивают по последней рюмке и желают друг другу, чтобы дело началось для них в счастливый час.

ГЛАВА III

Немного погодя в комнате Пантеля уже лежат несколько мешков муки, и на кушетке кучей громоздятся караваи черного хлеба. Глика суетливо бегает по комнате в своем грязном кружевном чепчике. Она зашивает и приводит в порядок мешочки, разговаривая при этом с женами Копеля и Янкеля, и все трое высчитывают заранее, сколько будет прибыли.

Маленький Урка не отстает от матери, прыгает, схватывает каждый раз по куску хлеба, разрывает его зубами, и щеки его работают проворно. Он в неописуемом восторге. Вот это жизнь на славу! Полные мешки муки, и так много хлеба, а в доме такая беготня, такая суетня, что ему не хочется даже покататься по льду... И он неотступно бегает за матерью, и кажется

ему, что он невероятно занят, что у него нет ни одной свободной минуты... Ему кажется, что он уже большой, и глаза его сияют, как свечки.

Старший сын Пантеля — Мендель — теперь в конюшне. Он размешивает корм для лошадей, то-и-дело выбегает он из конюшни и осматривает длинную и широкую, покрытую навесом, телегу, желая узнать, не пора ли выводить лошадей для запряжки.

Южка, девочка сторожихи, с обнаженными мокрыми покрасневшими руками, выбегает во двор с миской в руке и наклоняется над водосточной канавой, чтобы вылить мыльную воду. Мендель подкрадывается к ней, хватает ее за мокрую руку, которая тотчас же становится бледной, но мигом отскакивает. Южка сердито кричит на него, поворачивается к нему спиной и еще ниже наклоняется над канавой... Но Мендель нисколько не обижается; он ударяет ее ладонью по мягкому месту, затем нагибается к ней и говорит ей прямо в ухо:

— Сегодня я еду в Варшаву.

Когда смеркается, извозчики садятся в свои телеги, где все уже запаковано и прикрыто соломой, чтобы не видно было «контрабанды». С обеих сторон телеги, на крыльях, к железным кольцам привязаны клетки с живностью, и птицы глупо высовывают клювы и кричат и гогочут ни с того ни с сего.

Лошади уже впряжены, только одну вожжу Мендель старается бантом привязать к уздечке. Потом берет кнут, огревает лошадей — и айда в Варшаву!

Глика стоит у дверей своего дома. Она долго глядит вслед уезжающей телеге и думает про себя:

«Да пройдет все благополучно!».

А когда телега скрывается в темноте и уже не слышно скрипа колес по мерзлому снегу, она подзывает

к себе Урку, который перебрасывается снежками с уличными мальчишками, — и они идут домой спать.

Тогда удаляются и бедные еврейки-торговки, стоявшие у дверей, и мысленно высчитывают они, сколько прибыли перепадет на долю каждого компаньона в отдельности. Придя домой, они подходят к мужьям своим и, таинственно прикладывая палец к губам, говорят:

— Видишь, извозчики уже поехали с «контрабандой».

ГЛАВА IV

Первая поездка ошеломляюще отозвалась в местечке. Всюду, в синагоге и в частных домах, все, кто только обладал способностью речи, говорили об этом событии. В богатых домах об этом упоминали как бы вскользь, как о всякой «новинке». Но в бедных домах не на шутку заинтересовались предприятием извозчиков: жадно торопились узнать, кто еще с ними уехал, какие и сколько товаров они взяли с собой, гадали: пройдет или не пройдет дело и — что важнее всего — сколько им останется чистой прибыли.

С жгучим нетерпением ждали возвращения подвод, как ждут пришествия Мессии. А на другой день, к тому часу, когда ожидали их возвращения, несколько человек не поленились и вышли им по шоссе навстречу.

Видят: идут евреи, и вот пристает к ним другой, третий, четвертый, словно к похоронной процессии. Впереди идут еврейки, закутанные в длинные платки, а за ними — взрослые евреи и мальчики, уткнувши головы в приподнятые воротники, скрючившись от холода.

Не было недостатка и в уличных сорванцах, которые, юля вокруг, то перебрасывались друг с другом

снежными комьями, то угощали ими евреев и еврек; последние посылали им вдогонку проклятья...

Хана, дочь Гимпеля, выделяется из толпы, беспрестанно сморкается и кричит на верхнем регистре:

— Но кто красив, а я все-таки умна! Разве я еще позавчера не говорила, что извозчики собираются что-то предпринять?.. Не то к чему бы им понадобилось иметь дело с Янкелем-мельником!

Плетется по снежной тропинке, у самой канавы, и старый семидесятилетний Шайка, пыхтит, как гусь, и переспрашивает:

— С Янкелем-мельником?

— Да, — отвечает Хана, дочь Гимпеля, — полный мешок муки отвезли они к себе домой, затем они зашли еще к Ице-пекарю...

— К Ице-пекарю?.. — снова переспрашивает старый Шайка.

— Да, у Ици они взяли три пуда хлеба, — говорит она, гулко сморкаясь.

Урка, который тоже в кругу сорванцов, берет ком снега, спокойно подходит к Хане и бросает ей снег прямо в глаза. Она начинает ругаться, а он быстро убегает и кричит:

— У Ханы, дочери Гимпеля, благословение в носу!.. У Ханы, дочери Гимпеля, благословение в носу!..

Хохочут озорники, мчатся вперегонку. Падает один, но тотчас же встает и дальше мчится. Начинают бороться друг с другом, один другого валит в снег. И нипочем им двенадцатиградусный мороз, и рукавами своих пальтишек трут, красные, как свекла, щечки, уши, носы.

Старый Шайка тоже уже почти не чувствует мороза, который старается проникнуть к нему через вся-

кую щель, даже в боты, при каждом шаге раскрывающие крокодиловую пасть, даже в его порванные штаны, а главное — он играет на его трубкообразном носу.

— Ова, ова, — шамкает он, и мысль уносит его к Копелю и «Чарнихе», у которых полно муки и благоуханного хлеба и еще много-много хороших вещей, между которыми расхаживает их хозяин.

«Эх, эх, до чего мы дожили!.. — думает он про себя: — Когда-то все было по-иному! И при воспоминании об этом «когда-то» зажигаются огнем выцветшие семидесятилетние глаза: — «Когда-то, о, когда-то всего было вдоволь!..».

Перед его взором встает образ его снохи с грудным младенцем на руках: он видит эти исхудалые груди, к которым прильнул младенец, жадно прильнул, и сосет безнадежно пустые груди.

Но этот образ быстро исчезает и сменяется другим: перед его взором витают круглые хлебы, несутся, вьются, летят со всех сторон...

«Что? Неужели я уже так-таки ни к чему не способен?.. ге-ге-ге, ничего, старый бог еще живет, а старый Шайка еще в своем уме... И мы можем купить немножко товару и повезти в Варшаву. Останется рубль, полтинник, — и то деньги! все же лучше чем ничего!»

Он хватает Бейлку, тринадцатилетнюю девочку, которая идет рядом со своей матерью, несет ее до самой середины шоссе и там ставит ее на-земь:

— Ге-ге, — смеется он, — ты ведь чуть-чуть не упала в канаву.

В доме осталась одна Зилпа. Один бог в небесах знает, как ее подымало с места, как ее буквально срывало с постели, когда к ней зашла Хана, дочь Гимпеля, и рассказала, что она идет встречать извозчи-

ков. Но тот, кто в небесах, знает также, что она не в силах была двинуться с места...

И вот теперь сидит возле нее ее единственный сын Давидка, смотрит в глаза своей матери, а в черных глазенках его блестят слезы. Тихо про себя шепчет он молитву и вопрошает у бога, чем это они прогневали его, почему он больше других так жестоко наказывает их...

Зилпа не спит. Она лежит с закрытыми глазами и видит, как плачет ее единственное дитя: несчастная, горемычная мать видит даже с закрытыми глазами. И Зилпа знает, что это из-за нее проливает слезы бедный мальчик... Знает она также, что это о ней возносит он молитву к небу, о здоровье своей несчастной матери молит он... И такие светлые лучи разливаются по всем ее слабым, больным членам, что ей кажется, будто она обрела уже полный покой и спасение... Но вдруг острая резь пронзает левый бок, затем сверлит плечи, ноги...

«Владыка мира, владыка мира!» — шепчет она тихо про себя. К мальчику же она обращается так:

— Что ты плачешь, глупенький? Ничего, мне ведь уже гораздо лучше, чем вчера... Я думаю этак в среду, четверг я уже с божьей помощью сумею встать с постели.

Когда она произносит эти слова, материнская доброта разливается по ее преждевременно состарившемуся лицу. Она глядит на сына и видит его бледное лицо: боже, ни капли крови в его лице, — горе его матери! еще не завтракал...

— Возьми-ка, возьми же, Давидка, кусочек хлеба и ешь!

Он утвердительно качает головой в знак согласия, но она не верит и велит подать ей хлеб со стола. Он

подает ей краюху хлеба, и она сейчас же замечает, что он даже не притронулся к хлебу.

— Ты ведь ничего не ел! а? ну, скажи, можно разве обманывать маму? можно?

— Нет, нельзя, — отвечает Давид серьезным тоном, — но ты, мамочка, ты ведь слаба... а я, право, мне не хочется есть...

— Сейчас же чтобы ты ел! ах ты, противный обманщик!.. слышишь?! — И она хочет приподняться и отломить ему кусок хлеба, но не в силах даже чуть-чуть поднять голову... От напряжения темнеет в глазах, и силится-силится не потерять сознания.

Когда ей становится немного легче, она вздыхает и ловит на себе взгляд сына, который смотрит на нее старческим взором. «Ой-ой, горе его матери!» Она хочет рассказать ему что-нибудь хорошее, что бы его приободрило, и говорит:

— Слышишь, Давидка, здесь недавно была Хана, дочь Гимпеля; она рассказывала, что извозчики уже выехали с «контрабандой». Ну, думаю я, только я сойду с постели, на будущей неделе — если будет на то божья воля — я тоже, с божьей помощью, начну ездить. Янкель мне даст полпуда муки в кредит... Ну, тогда, с благословения всевышнего, начнем зарабатывать, и все пойдет по-иному.

Слышит сын, что говорит ему мать, но в глубине души он чувствует, что она серьезно больна: дай бог, чтобы на вторую субботу — через две недели — она могла встать с постели... Он прислушивается к ее словам, и в глазах его светится такая грусть... Но вдруг его маленькую голову осеняет счастливая мысль, и он с радостью обращается к матери:

— Мама, знаешь, что мне пришло в голову?

Она вопрошающе смотрит на него, и тогда он продолжает:

— Я поеду в Варшаву с контрабандой!..

Видя ее изумление, он продолжает говорить быстро и воодушевленно:

— Что такое? Думаешь, не сумею? Подумаешь, какая важность! Взять немного товару, сесть в каретку, всю дорогу держать в руках корзинку, в Варшаве продать и вернуться домой с деньгами в кармане!.. Слышишь, мама, поверь мне, — чтоб мне так жить на свете! — что так оно будет... Я уже справлюсь с этим делом и заработаю деньги...

Так говорит Давидка, и глаза его блестят, как звездочки. Он уже представляет себе, как он приезжает домой, продрогший, голодный, входит в теплую комнату; мама ставит перед ним тарелку с горячим ужином, а он выкладывает деньги на стол, и они считают так долго... покуда ужин остывает...

Давидка хватает краюху хлеба, отламывает кусок и подает матери:

— На, мамочка, ешь кусочек хлеба!

Глядит мать на сына, глядит своими больными материнскими глазами, и на сердце у нее вдруг становится и весело и грустно в то же время... Она молча берет из его рук кусок хлеба, смачивает его слюной, откусывает своими обнаженными деснами по кусочку и с усилием проглатывает.

Солнце как раз в это время подошло к их окошку. Лучи его заиграли по морозным цветам; окна заблестели, стали мало-по-малу оттаивать, и слезы закапали с них и разлились по подоконнику.

ГЛАВА V

У Черного Береля сердце очень слабое: чуть что — не про вас будь сказано! — ему ставят пиявки, а нередко, когда и это не помогает, его облепляют горчичниками...

Поэтому он сказал жене:

— Ита! Знаешь что — я совсем поеду узкоколейкой! Это, правда, будет несколько труднее: надо ехать на вокзал, взять билет, а главное — прежде всего надо выбрать документ, разрешение; надо итти к «коменданту», рассказать ему, зачем я еду, куда еду и надолго ли еду... И если на чужбине потеряешь разрешение, то ведь рискуешь жизнью... Зато через два-три часа ты уже в Варшаве, и сидишь себе всю дорогу на скамье по-человечески!.. Словом, я еду узкоколейкой.

Так об'ясняет Берель своей жене. Несмотря на слабое сердце, он все это произносит не переводя дыхания, так что ухо едва улавливает звуки его речи. Но Ита уж научилась его понимать. Конечно, сначала, вскоре после свадьбы, это было иначе: тогда она ни слова не понимала из его разговора, и между ними часто происходили столкновения. Теперь стоит ей только посмотреть ему в глаза, и она уже догадывается.

— Конечно, узкоколейкой лучше, — говорит Ита: — во-первых, не так измаешься, как в каретке, где приходится ехать всю ночь, и кости не так будут ныть.

У Черного Береля, как он ни болен, разговоры коротки: сказано — сделано. В работе, как и в разговоре, у него все та же торопливая манера.

«Чем раньше ты сделал одно дело, тем скорее сумеешь взяться за другое»... — это его любимая пого-

ворка. И как только писарь в очках выписал ему разрешение «по торговым делам», а комендант подписал, он сейчас же побежал, купил немного товару, запаковал его в бельевую корзину, запер двумя замочками и перевязал несколько раз прочным шпагатом. И вот Черный Берель надевает свое коричневое пальто, Ита в свою очередь закутывает ему шею шерстяным платком, и он садится в бричку, развалившись, как барин.

Но посреди дороги, когда они проезжали через лес, он вдруг теряет присутствие духа, и вся та храбрость, которой он запасся дома, покидает его.

«Кто знает... э, бэ... у них... немцев...

Он пытается затянуть песенку — «бим, бим, бим» — и вдруг спрашивает у извозчика холодным, как у разбойника, голосом:

— Скажи мне, Янкель, гм... гм...

— Что? — поворачивается к нему извозчик.

— Гм... нет, я думаю, прочно ли стоит корзина?..

— Да, — отвечает Янкель, стегнув лошадь.

— Бим, бим, бим, — распевает опять Черный Берель. Но вдруг он спрашивает каким-то странным и чужим голосом, как будто исходящим откуда-то со стороны и несущимся прямо с поля, так что даже извозчик вдруг попридержал лошадь.

— Янкель, — говорит он, — там, у вокзала, стоит кто-нибудь?

— Двое стоят, — отвечает тот, — они стоят там, где проходят с билетами.

— Двое... — и он чувствует, как что-то уже обрывается у него в груди...

— Но они не трогают, — утешает его извозчик, видя, что эти «двое» привели его в такой трепет.

Берель после этих слов, действительно, сейчас же успокаивается, но прежнее присутствие духа уже по-

кинуло его... Это уже не тот прежний Берель, а какой-то другой: того он оставил дома...

Проходя через перрон, он дрожал всем телом и шмыгал во все стороны глазами, словно человек, который этой ночью обокрал церковь и теперь везет кражу с собой... Только войдя вовнутрь вагона, он вытирает пот с лица.

Берель положил свою корзинку на полку. Он, правда, старался засунуть ее куда-нибудь подальше, поглубже... но всюду голые стены... и скамейки для сиденья у них не такие, как у русских...

Стоя на скамейке и переставляя свою корзину — может быть, хорошо так, а может быть, еще лучше эдак, — он заметил много таких корзинок, тюков, мешков и свертков. А когда он слез и сел на скамью, он увидел и возле себя и на противоположной скамье много евреев, так же, как и он, с теплыми платками вокруг шеи. И евреи так же, как и он, оглядываются по сторонам, словно воры...

Когда Берель окончательно пришел в себя, он заметил рыжего еврея, с горбом на спине и с высоким, очень высоким, выпуклым лбом. Еврей ходил взад и вперед по вагону и распевал псалмы заунывным, душу щемящим голосом. Берель, действительно, почувствовал, что сердце у него разрывается, — и он раскашлялся, затаив дыхание.

— Что, что с вами?—подбежал к нему рыжий еврей.

— Ничего, ничего... Сердце... — отвечает Берель.

Но когда тот снова начинает тянуть свою заунывную мелодию, ему становится совершенно не по себе, и он чувствует, что еще минута, еще секунда, и сердце у него выскочит, и жизни его конец... — и таким же голосом, как раньше к извозчику, обращается к рыжему еврею:

— Скажите, пожалуйста, что это вы везете?

— Керосин, — отвечает тот, и голос его дрожит, как у пойманного преступника.

— А муку? — снова успокаивался Берель.

— Муку — нет! На этом прибыль небольшая. Керосин больше в спросе. Но зато меня в воскресенье обчистили: полпуда керосину забрали... — И рыжий еврей почти что плачет.

— Кто это забирает, дяденька? То-есть кто это у них уполномочен на это?

— Не все ли равно, кто, — вступает в беседу узкогрудый еврей с реденькой бородкой и колючими, как булавки, глазами. — Кто хочет, тот и забирает. Вот у меня на прошлой неделе забрали пуд муки...

— Пуд муки? — и Черный Берель снова дрожит, как осиновый лист.

Черный Берель смотрит на какую-то длинную жестянку, и вдруг на лице его появляется смертельный испуг.

— Гвалт, евреи, что тут делать? Меня промочило!

Он вскакивает на скамью, за ним еврей с реденькой бородкой и колючими глазами, и оба они, торопясь, волнуясь, бумагой и разным тряпьем затыкают жестянки с керосином, обматывают и перевязывают так, чтобы не догадались, какой товар везут.

Между тем подходят другие евреи и, сбившись в кучу, начинают друг другу рассказывать о беде, которая с каждым из них уже происходила при поездках. И у каждого есть что рассказать: у каждого своя страшная история с душевными волнениями и ужасными огорчениями...

Чем дальше, тем тяжелее становится на душе у Черного Береля от всех этих рассказов. Глаза уже не блуждают попрежнему, словно чужие, а становятся

круглыми и неподвижными и отливают каким-то странным стальным блеском.

Когда последний еврей кончает свой рассказ, каждый усаживается тихо возле своих вещей, и каждый, углубившись в себя, возносит горячую молитву к богу, чтобы он внял голосу его сердца и благословил своей благодатью его горемычную долю и его тяжелую профессию. «Да ослепит он, владыка всего мира, всех дьяволов на узкоколейке и на вокзалах, и мои пачки да покажутся им маленькими, как точечки, как маленькие песчинки...»

Черный Берель читает псалом за псалмом. И стóит ему заметить на станции кучку немцев, как ему кажется, что все смотрят прямо в его окно, и по сердцу его словно ползут червяки, и в глазах становится мутно... В такие минуты он прекращает чтение псалмов, и когда «проклятая» станция уже позади, он мысленно дает обет, что если, с божьей помощью, все сойдет благополучно, он больше никогда не поедет по узкоколейке.

ГЛАВА VI

Полдень. Высокий Юкель открывает жестяную коробочку, вынимает оттуда иглу и вставляет в граммофон. Затем он заводит граммофон, и металлическая пластинка начинает быстро крутиться под острием иглы.

Раздаются звуки музыки и пения, и соседки тихо переговариваются между собой:

— Удар ему в голову! Чего ему не хватает? Становится посреди дня и начинает играть? Чтобы на его похоронах заиграли!

При звуках марша Юкель марширует взад и вперед по комнате в такт, словно солдат; затем он берет свою

круглую плетеную плетку, привешивает ее за ушко к пуговице своей куртки и выходит на улицу.

У дверей магистрата он сталкивается с Малиновским. При входе в ворота Юкель спрашивает Малиновского:

— Что? слышал уже, что везут контрабанду?

— Слышал, слышал, — отвечает поляк, — но что же надо в этом случае делать?

— Я думаю, — отвечает Юкель, разводя своими длинными руками, — пускай себе спекулируют! Но чтобы и нам с этого что-нибудь перепало.

— Дело! — отвечает Малиновский басом, и у Юкеля от удовольствия появляются складки на затылке.

— А как же? На пятнадцать марок в неделю разве можно жить? Вот теперь будет доходец!

Они продолжают беседовать, пока в форточке не показывается широкая всклокоченная голова жандармского вахмистра.

— А-а! доброго дня, «пан» Юкель и «пан» Малиновский! — обращается он к ним на ломаном польском диалекте. — Что слышно нового?

— День добрый, день добрый! — отвечают оба.

— Ничего нового, — прибавляет Юкель на ломаном немецком языке.

— Но что делают евреи? Это правда, что они занимаются контрабандой?

— Что господин вахмистр говорит? Мы ничего не слыхали.

Но «господин вахмистр» уже не слышит его. Он улыбается проходящей мимо девушке и зазывает ее к себе, поглаживая свои большие светлые усы.

— Красивая девушка... прелестная девушка... — и его светлые блуждающие глаза все время следят за

округленными бедрами девушки, которая движется легко, как будто плавая.

— Красивая «паненка», — обращается он к ним, и глаза его суживаются и блестят, как у кота... Уходя, он ворчит про себя:

— Гм, гм!.. надо проследить, как евреи занимаются контрабандой.

Когда вахмистр отходит на значительное расстояние от обоих милиционеров, они переглядываются и затем отправляются прямо к Пантелю в дом.

В комнате у Пантеля валялись мешки с мукой. Пантель как раз в это время застегивал свою ватную жилетку и давал советы своим компаньонам, как получше упаковать, — как вдруг открылась дверь, и показались оба милиционера.

Все три компаньона привстали, выстроились в шеренгу, как бы желая заслонить собою мешки с мукой, и испуганно глянули в сторону двери.

— Что вы суете в мешки? — спрашивает Малиновский серьезным тоном и строго взирает на извозчиков.

— Занимаетесь спекуляцией? — прибавляет Юкель своим басистым голосом.

— Разве вы не знаете, что это запрещено? — гневно кричит поляк.

— Пусть пан немножко успокоится, — старается Копель унять его.

Пантель натягивает на себя штаны и смотрит на Юкеля разбойничьим взглядом.

— Ах, — бормочет он, — очень тебе надо было вводить сюда, а?..

— Не разговаривать! Не разговаривать! — строго кричит поляк.

— Пускай пан присядет немножко! — все еще старается успокоить его Копель.

Один Янкель ничего не говорит. Он схватывает обеими руками английские весы и подымает их. Видит это Копель и, став перед Янкелем, цедит сквозь зубы:

— Ты хочешь их уложить? а?

И снова к милиционерам:

— Пусть пан только присядет!.. Поверьте, все будет в порядке...

— Конечно, конечно, все будет в порядке, — поддакивает Пантель.

Оба милиционера садятся за столик. Копель стоит, склонившись то над Малиновским, то над Юкелем. А Пантель стоит, словно ноги его прикованы к полу, гневно поглядывает на милиционеров и думает про себя:

«Будь он здесь один, он бы уж вышел отсюда с переломанными ребрами!..»

Но когда компаньоны узнают, что сказал вахмистр, ими, действительно, овладевают страх и трепет:

— Как? Он уже знает про это?

— Он сам? Ландсман?

— А что он собирается делать?

Такие вопросы вырываются у Пантеля и Копеля. А Янкель молча, угрюмо глядит на пол и все еще не снимает руки с английских весов...

— С ним шутки плохи, — отчеканивает Пантель.

— Может быть, он чего-нибудь добивается?.. — спрашивает Копель.

— Боже сохрани! боже вас сохрани! Это будет непоправимая глупость! — говорит поляк. Но, видя их растерянность и беспомощность, он добавляет:

— Ничего! Вы положитесь только на нас. А там уж посмотрим... мы будем на-чеку!

И, поднявшись с места, оба милиционера оправляют на себе тужурки и направляются к двери.

Извозчики идут вслед за ними, и Копель сует им что-то в руку.

— Помни же, Юкель, ты ведь наш брат — еврей: если что-нибудь разнюхаешь, дай нам знать.

— «Добже, добже», — отвечают оба и исчезают.

— Холеру им в кости! — кричит громовым голосом Копель, закрывая за ними дверь. — Что ты хотел сделать? Думаешь: это тебе старое время, когда были русские?.. — обращается он к Янкелю.

— Пускай не приходят сюда драть с нас шкуру! — разражается вдруг Янкель целой тирадой: — смерть так смерть! Издохнуть бы им, окаянным! Бахнуть бы весами по башкам, распороть бы им кожу, чтоб они околели!

И кто знает, какие способы смертной казни придумал бы еще Янкель для милиции, если бы вдруг не вбежала с шумом и криком Глика:

— Гвалт! Чего им здесь надо? Что они хотели, разбойники?

— Заткни свою глотку!.. Что это за писк и крик ни с того ни с сего?

— Как? Я ведь сама видела, как они выходили отсюда, — милиционеры-то!

— Ну так что же? — говорит Копель и снова берется за упаковку. — Были и опять ушли.

— И ничего не сделали?.. да искупят они этим свои грехи...

Упаковывая товар, Пантель вдруг останавливается в раздумье, одной рукой держа узел от мешка, а другой почесывая себе ногу.

Видит это Янкель, у которого сегодня уже развязался язык, и произносит вслух:

— Смотрите-ка на него! Стал и стоит себе, как ни в чем не бывало! Ты, наверное, думаешь, что теперь канун праздника?.. Хи-хи-хи...

Но Пантель ничего не слышит. Он беспрестанно чешет ногу и, повидимому, занят серьезными размышлениями. Постепенно лицо его расплывается в улыбку и, еле сдерживая радость, он обращается к товарищам:

— Послушайте, братцы, что мне взбрело на ум. Надо будет сделать двойное дно в телегах, как это сделали калишские... Тогда у них глаза на лоб полезут, и болячку они у нас найдут...

Обоим компаньонам это предложение чрезвычайно нравится. Копель не может сдержать своей радости и, как тогда в трактире у Эли, он хлопает Пантеля по плечу и гремит своим басом:

— Холеру им в кости! О, теперь они уже смогут искать, сколько угодно...

Они оживленно принимаются за работу: сыплют в мешки муку и крепко надавливают коленами, чтобы упаковка была плотной и мука не рассыпчатой.

Закончив упаковку, они прикрывают все тюки платками, тряпками, а затем отправляются к Ицхоку-Йойне — распить рюмку-другую.

ГЛАВА VII

Ицхок-Йойна — портной готового платья, но он не похож на других конфексионных портных, с их визгливым смехом и неприличными песенками. Это — благообразный еврей с красивой седой бородой, в суконной шляпе с широкими полями на седеющей голове. Неизменная еврейская улыбочка светится сквозь густую растительность щек, бороды. Молчаливый, несколько задумчивый, почти всегда с нюхательным табаком в руке, он на-ходу то шепчет главу из псалмов, то распевает праздничные синагогальные мотивы.

Нередко Ицхок-Йойна исполняет обязанности кантора в главной синагоге. Придя домой с молитвы, он

моет руки и медленно вытирает их. И завтрак его продолжается добрый час.

В первой комнате у него работают два сына и дочь — девушка с пухленькими румяными щечками.

Там, бывало, работа кипит. Парни оглашают комнату звучной песней, и их голоса смешиваются с глухим стуком машин, которые хрипят, как легочный больной в последнем приступе чахотки...

Но все это было давно, давным-давно, в то доброе старое время, когда мир царил на земле и фунт белого ржаного хлеба стоил пять грошей... «Жил-был король когда-то», — как поется в народной песне... Но все это исчезло, как сон, с тех пор как разразилась война. «За грехи наши тяжкие» — прибавляет при этом портной Ицхок-Йойна.

А теперь? Кто теперь работает? Кто заказывает себе что-нибудь? Могильная тишина, замерла всякая торговля; торговцы распродают свои товары почти даром, лишь бы было на что купить хлеб. А ремесленники? Ремесленники ходят днем с фонарем и рыщут и ищут мужика... И стало действительно плохо, так плохо, что хуже быть не может. Крутишься, вертишься туда-сюда без всякого дела, последний рубль давно уж проел.

Что же делать дальше? Думал, гадал, пораскинул умом. Остается только одно — «заложить млину», т.-е. варить самогонку.

Обо всем этом говорилось, конечно, по секрету, таинственно-тихо. Но как бы таинственно о чем-нибудь ни говорили, это все же дойдет до ушей Пини Грегера *. Нет ничего в городе, о чем бы не знал Пиня Грегер.

---

* «Грегер» или «грагер» — игрушечная трещотка, употребляемая еврейскими детьми в праздник «Пурим».

Ицхок-Йойна взял боченок — каким чудом сохранился у него боченок, этого он и сам не знает, — выскреб его хорошенько, заказал у жестяника жестяной чан с тарелками и трубочками, купил спиртомер и в первую же облачную ночь приступил к варке.

Ицхок-Йойна один своими собственными силами не мог бы даже и мечтать о таком «предприятии»: все его богатство заключалось в этом боченке, да кой-как с грехом пополам ему удалось разжиться на чан. А пуд сахару в это время стоил уже двадцать рублей! Поэтому он переговорил с Иосифом Лялькой, и они в добрый час составили компанию. Но в этот самый день явился Пиня Грегер и сообщил им, что он тоже входит в компанию.

Те, понятно, ахнули от изумления и подняли крик:

— Гвалт, разбойник! Как это могло тебе даже притти в голову? Мы потратились, приготовили всю посуду, притом для троих ведь не хватит...

Но он ничего не хочет слышать и настаивает на своем, а если нет, то все дело никуда не годится...

Тут уж Иосиф Лялька не стерпел, схватил Пиню за руку и сжал ее словно клещами.

— Подлая трещотка! На готовое ты хочешь стать компаньоном! Не со мной — шалишь, брат!..

Пиня весь запылал от гнева, нос заострился, и под глазами показались желтые круги.

— Я вас проучу... — крикнул он, вырываясь из рук Иосифа Ляльки, и бросился бежать.

И произошло это через несколько дней, когда Лейба, сын Ицхока-Йойны, сидя на корточках, подбрасывал поленья в огонь под чан.

Сверху, над разогретым чаном, кипит маленький котелок. Пар входит в трубочку, пробивается между двумя тарелками и снова входит в трубочку, которая

проходит через охлажденный боченок. Из конца этой трубочки течет капля за каплей, и Ицхок-Йойна стоит там и держит горшок под трубочкой...

— Первая варка, — говорит он самодовольно. И когда опускает спиртомер, который показывает 85 градусов, он, замирая от восторга, радостно восклицает:

— Га, га! Славная варка! Восемьдесят пять градусов — га, га!

В это время влетает Иосиф Лялька. В три прыжка он преодолевает все преграды, раскрывает дверь, срывает котел, вытаскивает оттуда трубочки и кричит, не переводя дыхания:

— Скорей! Скорей!.. Ландсман с егерем идут сюда...

Все засуетились, бегают, хватают то одно, то другое, и никто не знает, за что раньше взяться... Шутка ли? в углу стоит завар, полный до краев... Его поднимают и тащат... В трубочках все еще шипит пар, и трубочки слезятся, и драгоценная влага капает оттуда на грязный пол и впитывается в землю.

Лейба жалобно бормочет:

«Восемьдесят пять градусов!..» — надрывается под тяжестью, и пот градом льется с его лица.

А отец его бледен, как мел, а мать — маленькая еврейка — сует в сумку бутылки с готовой водкой и, накрыв их своим передником, тащит к соседке спрятать.

У Ляльки нос вытянулся и заострен, как у покойника.

«Такое богатство! такое богатство! и все это идет прахом» — думает он.

А румяные, пухленькие щечки Брайны еще больше раскраснелись... Она тащит, хватает и прячет куда попало все, что возможно... Стоя на влажном дне боченка, она вдруг поскользнулась и, падая, зацепилась юбкой

за гвоздь, торчавший в стене; обнажается ее нога, перевязанная сверху над коленом бархатной лентой в виде бантика.

Горе, несчастье, удар обрушился на них!.. Уже слышно, как они идут, эти собаки! Какой у них разбойничий вид! И — входят немцы.

— Что здесь за фабрика? — спрашивает вахмистр по-немецки и озирается по сторонам.

— Здесь живет портной, — отвечает Ицхок-Йойна на испорченном немецком языке, дрожа, как осенний лист.

— Портной? — переспрашивает вахмистр, и злобная усмешка кривит его губы. — Портной? как? А где же ваша машина?

— Вот здесь, уважаемый господин, — отвечает Чипа. Маленькая еврейка не может уже владеть собой: она хватает вахмистра за полу его мундира и начинает изливаться перед ним в красноречии и изысканных любезностях.

— Он, мой муж Ицхок-Йойна, — портной, он шьет готовое платье. Но ведь теперь положительно никакой работы нет, так что машины сунуты в угол... Уважаемый господин ведь такой добрый, такой славный... Пусть господин сядет.

И она подносит ему влажный грязный стул.

— Что за грязная квартира, — говорит ландсман своему спутнику.

Последний — высокий и худощавый мужчина, с выдвинутой вперед челюстью, лукообразным носом и впавшим ртом. На голове у него круглая шапочка без козырька, и похож он в ней на собаку с подрубленным хвостом...

— Поглядите-ка, что в этой бочке? — говорит ему вахмистр.

Егерь нагибается к бочке, и кажется, что вот-вот он треснет пополам, как палка.

— Бочка пуста, господин вахмистр, но воняет она невыносимо.

— Что это за бочка? — обращается ландсман к остальным с угрожающим жестом.—Да, да! Это—водка!

— Нет, нет, милый господин, что за водка? какая водка? Откуда и каким образом? Это от квашеной капусты.

Но, встретившись с его взглядом, она вся трепещет от страха и всхлипывает:

— Будьте милостивы! Сжальтесь!

А «милый господин» осматривает какую-то цилиндрическую посуду, нюхает ее и спрашивает с дробным смешком:

— Это тоже от капусты?

— Да, да, от капусты.

Он снова озирается кругом и видит Брайну у дверей второй комнаты. Тогда он вдруг преображается: лицо светлеет, и взор его становится мягче и ласковее:

— Вы здесь живете, барышня? — и он кивает егерю, — красивая девушка, правда?.. ну, — и не досказав, он подходит к девушке и щиплет ее за щеку, — так, так... значит, вы — дочь этого еврея?.. Я уж видал раньше паненку возле магистрата... я был... возле магистрата... — И в глазах его снова блестит огонек.

Затем он вынимает записную книжку с карандашом и записывает их имена. Перед уходом он обращается к Брайне:

— Вы должны притти ко мне сегодня, в шесть часов — будет штраф...

Когда немцы ушли, евреи расселись по влажным скамьям и стали оплакивать свои убытки так, как оплакивают покойника:

— Кто знает, годится ли еще завар?

— В котле сделалась дыра...

— А где медные тарелки?

— Они целы — лежат в погребе.

— Ну еще хорошо отделались! В конце концов они ничего не нашли!..

Иосиф Лялька подходит ближе к дочери Ицхока-Йойны:

— Брайнделэ, — молит он жалобным голосом, — заглянешь к нему... покажешь ему улыбочку?.. ты ведь знаешь, как... — А Ицхоку-Йойне он раз'ясняет:

— Они такие, что за еврейскую девушку дадут себе горло перерезать.

Брайна краснеет по-уши и возбужденная убегает во вторую комнату. Но все же это льстит ее самолюбию: ласка со стороны вахмистра...

— Кто знает, не Грегера ли это работа? — высказал Лялька свое подозрение.

Но Ицхок-Йойна даже рассердился:

— Что ты? что ты?.. чтобы еврей...

Все же они решили с сегодняшнего же дня принять Пиню в компанию.

Кто был виновником этой истории — еще до сих пор не выяснено. Но с той поры дела у них пошли лучше.

Первым долгом — теперь их «фабричка» уже не в доме: они сняли заброшенную постройку, которая стояла одиноко где-то во фруктовом саду — неподалеку от двора Пантеля. И «фабричка» сама тоже увеличилась — начали гнать в два котла!.. А водку выпускали они целыми бочками.

Тяжело было только насчет воды. Колодезь находился далеко за садом, и с трудом они добывали столько воды, сколько требовалось теперь для их расширенного производства.

Тогда они наняли Зораха, по прозванию Айзелэ*: с честью и достоинством носит он это прозвище, которым почтило его местечко. И вот Зорах ничего не делает, как только тащит ведра воды из колодца: притащит в «фабричку», выльет в пустые бочки, которые расставлены внутри вокруг стен, и бежит снова к колодцу.

И даже в субботу, разгуливая по улице, он держит руки в таком напряженном положении и в такой позе, как будто он несет ведра с водой.

ГЛАВА VIII

Во вторник — это было как раз в день ярмарки — Пантель не поехал в Варшаву, — остался дома.

— «Карый» поскользнулся у меня на обратном пути, — сказал он Копелю. — Он чем-то повредил себе ногу и не может двигаться.

Копель ничего ему на это не ответил и поехал с Янкелем в Варшаву.

Пантель, по правде говоря, был сильно расстроен и озабочен: не шутка ведь в такое время — лошадь! Он вскрыл ему жилу, смазал, но ничего не помогло. Хаимка Король принес даже особенную мазь, которой никто другой не знал, натер карого так, что тот прыгал и метался от боли, — но и это не действовало.

Хоть бы это случилось со второй лошадью, а не с карым, который был у него более здоровым и крепким!

Пантель, проводив телеги, пришел домой и сейчас же лег спать. На другой день он поднялся чуть свет, вынул из шкатулки несколько сот рублей, которые

---

* Кусочек льда, ледяная сосулька.

он уже успел скопить за время спекуляции, еще пару сотен занял на короткий срок у Хаимки и вместе с ним отправился на конный рынок.

Там он осмотрел всех лошадей, приведенных для продажи. Но ни одна из них не понравилась Хаимке, хотя Пантелю, который тоже не профан в таких вещах, некоторые показались вполне достойными чести возить контрабанду в Варшаву... Но Хаимка все пожимал своими могучими плечами, такими широкими, что любой мешок муки или соли стоял на них как на столе.

Они уже собрались было попрощаться с конным рынком и отправиться домой, как вдруг Хаимка увидал своего старого знакомого из «Швиницы» — Будлыка, только что пришедшего на рынок с огромным жеребцом.

Он сейчас же подошел к мужику и стал с восхищением осматривать коня — великолепный экземпляр конской породы! черный высокорослый жеребец, с продолговатым туловищем, с красивой головой и мохнатыми копытами — здоровенный конь!

Хаимка смотрит коню в зубы и обращается к Пантелю:

— Четыре года ему, — затем обращается к мужику:

— Сколько хочешь за эту лошадку?

— Это тебе лошадка? — отвечает крестьянин обиженным тоном, — это добрый конь! Тысячу рублей дай за него, Лиэзер (так крестьяне все еще называют Хаимку по имени его отца).

— Что? — переспрашивает Хаимка удивленно, — тысяча рублей? Да ты в своем уме?

— Иначе не пойдет, — отвечает Будлык, — я бы его и за две не продал, но у нас в деревне говорят, что швабы * собираются реквизировать лошадей...

---

* Так поляки называют немцев.

— Ну, дай руку! — И Хаимка начинает хлопать его по руке так, что искры сыплются. — Шестьсот! Семьсот! — И снова хлоп по руке, так что жеребец подскакивает и становится на задние ноги. — Восемьсот! — Но Будлык с мужицким упрямством стоит на своем и не уступает. — Девятьсот! Пантель, возьми коня!— и он вырывает у Будлыка поводья и передает их Пантелю.

Теперь только они отправляются в трактир, выпивают и снова бьют по рукам. Вышли из одного трактира, идут в другой. Пьют с каждым в отдельности, пока мужик не напивается до бесчувствия и сидит как идол. Однако он не забыл запрятать деньги заблаговременно в надежное место.

По дороге Хаимка хлопает Пантеля по плечу и пьяно бормочет:

— Пантель-вор! ну и лошадь же тебе досталась — настоящий лев! Ты мне вечно будешь благодарен за него!

В ответ на это «Пантель-вор» также хлопает его по плечу. Они еще раз осматривают жеребца, пробуют бег его, держа за узду, вводят его в конюшню, а затем отправляются в сад — в «самородную фабрику» завершить попойку...

Вечером, когда Пантель спит в полном облачении, вбегает Файвка и что-то говорит Менделю на ухо.

Услышав, в чем дело, Мендель сейчас же бежит к отцу, будит его, рвет и тащит с кровати.

Пантель ошалело вскакивает, щурится от света лампы, стоящей перед ним. Мендель докладывает ему, что Файвка только что приехал с узкоколейки и рассказывает, будто Копель с Янкелем условились в Варшаве насчет какой-то новой компанейской комбинации.

Пантель стоит, словно его обдали холодным душем. Подтягивает на себе штаны и туго обвязывает их ремнем.

— Огонь им во все их внутренности! — мычит он. — Файвка, зайди-ка сюда!

Входит Файвка, веселый разбитной парень, и ухмыляется.

— Пантель, — говорит он, — мое имя «Дудка»*, а они тебя здорово надули.

— Кто?

— Копель и Янкель Чап. «Что? — говорят они, — он себе будет сидеть дома, как барин, и будет считаться компаньоном на всем готовом? Шиш ему под нос!»

— Так прямо они и сказали? — спрашивает Пантель, и глаза его наливаются кровью.

— Они не сказали, — отвечает Файвка с усмешкой. Но, поглядев на хмурое лицо Пантеля, прибавляет уже серьезнее, — не сказали, а пустозвонили...

Пантель сразмаху бьет кулаком по столу, так что лампа подскакивает вверх и только каким-то чудом спасается.

— Огонь им в печонку, мерзавцы этакие!.. Кто им подал эту мысль — ехать в Варшаву, как не я? — И он мечется по комнате, как дикий зверь.

Внезапно он останавливается перед парнями, заглядывает им в глаза и разражается грубым смехом:

— Чорт с ними, будь они прокляты! Не хотят быть со мной в компании? Ну и что ж? На кой чорт они мне нужны? Моя каретка больше, чем ихняя, и может вместить больше пассажиров. Провались они сквозь землю животами вверх!..

---

* Faife, немецкое Pfeife — означает дудочка, свисток.

Услышав такие слова, Файвка подскакивает к Пантелю, шлепает его по затылку и подмигивает:

— Огонь их разыщет! — Пантель, давай-ка я стану ездить с твоей кареткой. Мы их хорошенько проучим за это... сто чертей их матери!

Порешили на том, что, когда компаньоны приедут, он, Пантель, сделает вид, будто ничего не знает. А когда они сами заведут разговор, он прикажет поставить пиво для всех «пшиятелей», — и конец содружеству.

ГЛАВА IX

Зима приближалась к концу. Был хороший день, один из тех дней, когда и солнышко греет и веет легкий ветерок. В такой день в местечке настежь раскрываются двери, дети выбегают за порог своих домов и тянутся на свежий воздух.

Наши спекулянты, вкусив послеобеденный сон, просыпаются самодовольные и радостно глядят на ласковые солнечные лучи, заглядывающие в их комнаты.

И они подымаются с постели, бодрые и жизнерадостные, выходят во двор и начинают готовиться в путь.

На обратном пути из Варшавы всю ночь лил дождь. Навесы насквозь пропитались водой, и все пассажиры промокли до мозга костей.

И вот теперь, надев на себя просушенное платье и белье, они чувствуют себя освежившимися. Они глядят на небо, на котором тянутся стаи белых тучек, — тянутся без конца.

Было около шести вечера. Длинные тени уже ложились на стены, обращенные к востоку, в тот момент, когда каретки выехали со двора и тихим шагом двинулись вперед к шоссе.

По обеим сторонам кареток, держась ближе к домам, шли спекулянты с узелками под пальто и платками, оглядывались подозрительно во все стороны, наклонив головы, и шли все дальше, пока не очутились далеко за крестом, по ту сторону первого мостика — у шоссе.

Поспешно бросив свои узелки в карету, они сами быстро влезают туда, после чего извозчики, стегнув лошадей, начинают кричать и торопить их: ой-та! ьь-о-о!

Вдруг раздается свист и громкий оклик:

— Стой!

Спекулянты высовывают головы и, увидя, кто за ними гонится, пугаются на-смерть. Наиболее подвижные хватают свои тяжелые узлы, соскакивают с кареток и бросаются в бегство по полю с такой поспешностью, как если бы в их руках были не двух-трехпудовые мешки, а какие-то щепки.

Немец, видя, что многие разбегаются, высоко поднимает револьвер и кричит:

— Стой! Ни с места! Ни шагу вперед!..

Дрожь и трепет овладевают всеми. Старый Шайка стоит одной ногой в каретке, а другой на колесе и не может двинуться ни туда ни сюда. Руки, придерживающие узелок, дрожат и прыгают, а он сам с жалостной мольбой смотрит в лицо немцу, который уже стоит у каретки и гневно кричит.

Он приказывает Менделю сбросить с телеги все вещи, чтобы убедиться, не везет ли кто контрабанды...

Пантель стоит возле лошадей, поправляет упряжь, и все его крепкое тело содрогается от возбуждения:

— Эх! «благословить» бы его хорошенько прямо в зубы, чтоб он меня долго помнил!..

Мендель сбрасывает с телеги узлы, мешки подскакивают и остаются на мостовой. Когда немец тычется носом в кузов каретки, чтобы посмотреть, не осталось ли там чего, Пантель тем временем за его спиной хватает пару мешков и бросает их в ров, так что их уж не видно... Видят это другие и следуют его примеру. А немец, видя, как исчезают спекулянты с узлами, стреляет в воздух. Люди замирают на месте, цепенеют. Ну что ж! — что будет, то и будет!

Немец после этого пересчитывает узлы и оставляет Менделя караулить их. «Чтобы мне все было в целости!»

То же повторяется у подводы Копеля.

При сбрасывании узлов с подводы в одном мешке трещит шов, и отуда сыплется белая мука, падая, как пушистый снег в сумраке ночи.

Немец рассмеялся и, издеваясь, спросил:

— Что это такое? Что?

Вдруг подбегает толстая девка — «Матеeха» — подстилает свой передник, чтобы мука не сыпалась на землю, и горько рыдает:

— Иезу! о бозе! цалый мой майонтик, Иезу коханый!.. *

— Вот как? — восклицает немец, узнав, что это ее мука, — собери-ка все обратно в мешок!

Затем он скомандовал остальным:

— Здесь тридцать узлов! Возьмите все это на подводы и — марш в комендатуру!

Подымается вой и крики. Подбегает Хана, дочь Гимпеля, с непокрытой головой (в суматохе она где-то потеряла головной платок), хватает немца за руку, целует ее и рыдает:

---

* Исусе! О боже! Все мое достояние, Исусе возлюбленный!

— Господин! Великий господин! Да имеет господин сострадание к бедной еврейке... и не забирайте у нее последний кусок хлеба!..

Он отталкивает ее и не сводит глаз с Матеехи, любуется ее крупным телом. Вдруг улыбка пробивается у него из-под усов. Он что-то шепчет ей на ухо, уже по дороге в комендатуру, и щекочет ее. Она прекрасно понимает, чего он хочет, хотя из его немецкой речи она не понимает ни слова.

Он указывает ей на мешок, приговаривая:

— Твою контрабанду ты можешь взять обратно... весь твой товар. — При этом он лукаво подмигивает ей.

Когда подводы в'ехали на большую базарную площадь, сбежалась такая толпа, что лошади едва могли передвигаться.

Но стоило только немцу произнести одно слово, бросить один только взгляд, — и все разлетелись в боковые улички и закоулки. Такая сила уже таится в нем — в этом немце!

Когда подводы уже стояли во дворе комендатуры, все спекулянты вбежали в помещение первого этажа, где обыкновенно сидит комендант, но застали только унтер-офицера и писаря в очках. Комендант в это время как раз отправился на прогулку.

Евреи накинулись на унтер-офицера, затормошили его, оглушая криками, сбивая с толку. Только тогда, когда прошел егерь и вышвырнул всех вон, они после короткого обмена мнениями порешили, что половину надо конфисковать, а половину возвратить спекулянтам.

Одна только Матееха получила обратно весь свой товар. Зато она вместе с егерем и писарем в очках должна была сейчас же отправиться в гостиницу к Меирке и занять там отдельный номер во втором этаже.

ГЛАВА X

Когда извозчики от'ехали уже верст двадцать от местечка, или — выражаясь на извозчичьем жаргоне — «имели позади себя двадцать верст», — Копель слез с каретки, пустил лошадей самих по знакомой им дороге и подошел к Пантелю.

— Пантель! — говорит он, — ты еще сердит, что наша компания расстроилась?

— С чего бы я стал сердиться? — тогда, видишь ли, если бы ты мне подвернулся под руку, я бы тебе переломал пару ребер. Но сердиться, драться — за что?

— Знаешь? — внезапно, бог весть почему, начинает гневаться Копель, — знаешь, Матееха получила обратно весь свой мешок?

— Понятно, — ухмыляется Пантель, — раз она была с егерем у Меирки.

— У Меирки? — спрашивает Копель, вне себя от удивления, — как? ведь он — благочестивый хасид!

— Но он ведь продает водку рюмками.

— Вот как! — качает Копель головой, — вот как! — Словно тот факт, что Меирка продает водку рюмочками, является истинной причиной того, что Матееха получила обратно весь свой товар... И он еще несколько раз повторяет свое «вот как», потому что для него не все еще вполне ясно...

И вот он тихо бредет возле лошадей Пантеля, берет в руки хвост жеребца, перебирает волос пальцами и вдруг начинает греметь своим басом:

— Холера им во все внутренности! Но что же нам теперь делать?

— Чтоб немцу так прожить ночь, как я знаю, что теперь делать, — ругается Пантель по адресу немцев

и огревает кнутом лошадей, которые все время шли шагом и теперь сразу пустились рысью.

— Ой, плохо, очень плохо! — ноет кто-то изнутри подводы.

Это так отвечает Берель Черный на слова Копеля, и слова вылетают из его рта с такой быстротой, как будто они все срослись вместе, как будто он что-то выплеснул из себя. Проходит несколько минут, пока он несколько раз попрежнему повторяет эти слова, слитые в одну кучу, и извозчики начинают, наконец, понимать, что он говорит.

Значительный запас своего гнева Пантель израсходовал на лошадей. Гнедой после каждого удара кнутом крутит головой, и кажется, будто в его глазах застыл вопрос:

«Чего он дерется? Чего он хочет от нас? Разве мы виноваты в том, что немцы у него отобрали? Пусть он их колотит!»

Нечто в этом роде можно было прочитать в глазах гнедого. Жеребец, напротив, не обращал никакого внимания на удары кнута, как будто от него отгоняли мух.

Неизвестно, понял ли Пантель, что таится во взоре его лошадей, или нет. Во всяком случае он перестал их стегать и, прикурнув на козлах, серьезно задумался над вопросом, что делать.

«Надо их подкупить всех до одного! — думал он про себя, — тогда мы избавимся от адских притеснений в пути. Через каждые две версты — стража! Чтоб у них головы опухли!.. Теперь он уже потерял все, что скопил со времени покупки жеребца... Четыре пуда муки у меня забрали... Но, с другой стороны, — не может он успокоиться, — если подкупить всех, то придется работать только на них: тому не-

множко да этому немножко, — и все попадет в конце концов к ним в глотку».

Эти мысли назойливо и неотступно преследуют Пантеля всю дорогу, — и не его только одного: все, все сидят, углубившись в свои мысли. Даже Файвке — этому вечному весельчаку — не приходит теперь и в голову заигрывать с Матеехой, с которой он был в хороших отношениях еще тогда, когда ездил с Копелем.

Даже маленький Давидка всю ночь не спит. Перед глазами его стоит образ матери, которая все еще так слаба, что едва держится на ногах. А она все мечтала сшить ему на пасху кафтанчик. Да, хорош кафтанчик!.. Забрали на пятнадцать рублей, целых пятнадцать рублей! Он, правда, ожидал этого: уж несколько месяцев, как он ездит с контрабандой! Но в мыслях он представлял себе эту минуту иначе, совсем-совсем иначе. Он рассчитывал, что, когда немцы под'едут, станет тихо, совершенно тихо. Тогда он подойдет к ним и обратится с такой речью на их языке:

— Господин комендант! Я знаю, что нельзя возить контрабанду. Но что же мне делать, когда отца у меня нет, мать — больная, а заработать на хлеб некому...

Так — представлял он себе — он будет разговаривать с немцем. Тот начнет его расспрашивать, а он не испугается и ответит на все — решительно на все. Тогда, конечно, немец ничего у него не отберет, не позволит дотронуться даже пальцем... А может быть, он даст еще записку ко всем караулам и раз'ездам, чтобы они не смели его трогать... Может быть...

Такую картину он мысленно рисовал себе. Но в действительности вышло иначе, совершенно по-иному... Потому что, как только он увидел волчью

физиономию немца, он так смутился и испугался, что спрятался за спины остальных пассажиров, забился в уголок, чтобы немец его не видел, чтобы он его совсем не заметил.

ГЛАВА XI

У Пантеля буквально мутилась голова. С тех пор как отобрали у него несколько пудов муки, он бродил, как немой медведь. Свою беременную жену, которая была уже в последних месяцах, на глаза к себе он не пускал. За каждое слово и после каждого слова — «холера ей». Насчет сыновей он тоже не скупился, но старшего — Менделя — он не осмеливался тронуть; тот был весь в мать: высокий, широкоплечий — богатырь! Вдвое больше самого Пантеля. Зато младшего — Урку — он колотил и награждал пинками при всяком удобном случае.

Еще раз отобрали контрабанду и снова и снова отбирали и большей частью с его подводы. У Копеля в каретке дело шло оживленно. Файвка вернулся обратно к нему и таскался с Матеехой. Они покупали товар вместе, а у караульного поста она говорила, что это ее товар, и у них, действительно, ничего не забирали. Старый Шайка, правда, иногда подшучивает и называет Матееху «невестой Файвки». Но Файвка плюет на него и на весь свет.

«Вот, например, — думает про себя Пантель, — будь со мной такая невеста, — у меня ничего не отобрали бы ни тогда и ни теперь опять... И вместе с тем она ведь хорошая помощница в дороге — в Варшаве разве можно одному со всем справиться? Ни поесть, ни отдохнуть! Разве жена ему чем-нибудь помогает, — хотя бы даже дома? Сидит себе, как пустая бочка, со своим животом.

Мальчонку — опять она собирается родить мальчонку — не иначе!.. Видеть он не может ее противную харю...»

Такие мысли бродят в голове Пантеля. Он еще не отдает себе ясного отчета в том, куда эти мысли заведут его впоследствии.

Даже тогда, когда на рассвете он приезжает домой и весь продрогший ложится в постель, его преследуют те же неотвязчивые мысли. Тогда он поминутно просыпается, встает с постели, разражается бранью по адресу жены, потом отправляется в сад — к Ицхоку-Йойне, заказывает «девяностоградусную» и пьет — одну рюмку за другой.

Иногда эти мысли оставляют его в покое, исчезают. Но это бывает лишь изредка, и то лишь по субботам. Тогда он встречается со своей компанией — «пшиятелями»; иногда даже они сами к нему заходят. Лозер, отец Хаима Короля, рассказывает про минувшие годы, когда Пантель и все прочие были еще холостяками — горячие ребята! Когда они брались за какое-нибудь дело, то заканчивали его мигом: раз, два, три — и готово. Вот, например, история с «кацапами»...*

«Эх, братцы, братцы! Эти времена еще вернутся, должны вернуться — не иначе!»

И в такие минуты лица их сияют непоколебимой уверенностью. Если бы не эта глубокая вера, то разве пылали бы так щеки, таким пламенем загорались бы глаза?

В такие субботы Пантель становится как будто иным, каким-то праздничным. Вечером, когда звезды рассыпаются по небу, он помогает старому Шайке влезть в каретку и потом всю дорогу не перестает рассказывать и пересказывать ему сказки старого Ко-

---

* Так в Польше называют русских.

роля. Шайка выслушивает его, что-то бормочет своим хриплым баском и посмеивается. А Урка, который теперь уже тоже изредка сопровождает отца в Варшаву, лежит на чьем-то сундуке, прислушивается с напряженным вниманием, высунув язычок, как маленькая собачка, и восторгается теми подвигами и выходками, которыми когда-то отличался его отец.

В одну из суббот компания «пшиятелей» сидит в доме Пантеля, и Лозер, поглаживая свою седую бороду, рассказывает чуть ли не в сотый раз:

— Пришла, значит, в местечко в пятницу вечером компания кацапов-железнодорожников. Хотят местечко перевернуть вверх дном. Ужас охватил всех. Они прежде всего стали избивать евреев, которые шли в это время в синагогу на вечернюю молитву. И что ж вы думаете? Старый «Король» как кинется в соседний двор, вытащит оглоблю из телеги да как начнет размахивать ею направо и налево, — родные мои! те, как мухи, падали на-земь. Подбегает высокий кацап с железным колом в руках, — вот-вот раскроет он череп «Королю». И что же? Вдруг подскакивает Пантель и как хватит его кулаком по башке, так тот волчком завертелся.

Маленький Урка слышит этот рассказ и приходит в телячий восторг; от избытка радости он не может владеть собой и похлопывает отца по плечу своим маленьким кулачком... Но тот, повидимому, считает неуместным такое «панибратство» со стороны сына и угощает его такой звонкой пощечиной, что маленький Урка падает стремглав на пол и, перекувыркнувшись, замирает.

В эту минуту мысли Пантеля проясняются, и он уж знает, что ему надо делать, ибо в связи с этим ударом разыгрывается длинная история.

Когда маленький Урка упал и стал кувыркаться по полу, все решили, что с ним припадок «тяжелой «болезни» *; потом, спокойно растянувшись на полу, он широко открытыми глазами без всякой перемены в выражении лица взглянул на отца, как будто готовый снова хлопнуть его кулачком по плечу. В это время влетела Глика и разразилась криками:

— Что ты пристал к мальчику? Ты ведь мог его до смерти забить, Пантель-вор... чтоб у тебя руки отняло!..

Чувствуя себя виноватым и не зная, на ком выместить злобу, Пантель привстал, раскрасневшийся от гнева, уставился дикими глазами на жену, которую он в этот момент ненавидел всей душой, и хотел уже было приняться за нее... Но он стеснялся своих приятелей... Он только сплюнул в сторону, вышел из дому, хлопнув дверью, и отправился к себе в конюшню.

Там, поглаживая рукой своего жеребца, он понемногу успокоился и стал обдумывать все случившееся. Он считал теперь единственным источником своих несчастий жену; она виновата даже в том, что у него забирают контрабанду.

«Погибель ее отцу, старому бабнику!» — думает он про себя и с силой ударяет жеребца в бок, затем берет его за длинный хвост и закручивает его вверх... — «Эх, Пантель-вор! — продолжает он размышлять, — если у тебя еще раз отберут, то пропала твоя головушка, и ты недостоин того, чтобы тебя земля носила...»

Он подходит к гнедому, набирает полную охапку сена и тычет ему в морду. Затем взбирается на чердак, зарывается в сено и долго-долго лежит там, погруженный в свои мысли.

---

* Т.-е. падучей.

Наконец, он твердо решает, что надо действовать именно так, а не иначе. Что скрывается под этим «так», это для него самого еще не вполне ясно. Но сущность дела для него совершенно ясна и несомненна: «надо привлечь в компанию девку».

Он, конечно, не подойдет ни с того ни с чего к первой встречной девке с предложением: «Эй, поезжай-ка со мной вместе». Но одна мысль твердо засела ему в голову:

«Как можно скорее найти ее, — и дело с концом!».

И скоро счастливый случай, действительно, свел его с желанной, да еще с такой, что не один молодчик ему завидовал и не одна драка произошла из-за нее.

ГЛАВА XII

В Варшаве, в узком переулке возле Железной улицы, живут в большом доме три девушки. Одна из них уже не первой молодости — ей за тридцать лет — но вся она, как широко раскрытый цветок; у нее — полное, молочно-белое лицо, сочные губы и упругие груди. У второй — продолговатый лоб, прическа кверху, щеки — хотя и с румянцем, но несколько обвислые, так что кончик носа у нее уж слишком заострен. Третья — самая младшая — с светло-русыми волосами, с вьющейся гривкой на лбу и завитушками на висках.

С тех пор как русские оставили Варшаву, положение становится все хуже и хуже. И Сташа — средняя из них — проводит бо́льшую часть времени дома, лежа на своей кровати и покуривая папиросы. Еще не так давно мечтала она о каком-нибудь графе или князе, или — по меньшей мере — об офицере, который влюбится в нее и возьмет ее с собою туда, в свои имения... «Разве такие случаи не бывали?..» Но когда

немцы придвинулись к самой Варшаве и русские отступили, она однажды отдала себе ясный отчет во всем, глянув в зеркало, увидав, что морщин все больше и больше и что годы берут свое. «Скоро состарится, скоро... И к тому еще улица совершенно опустела, так что темной ночью все глаза проглядишь... и птички не увидишь... А наряды нужны, нужны чулки порядочные, а не заштопанные... и шляпа... гости ведь на все это обращают внимание... Боже мой!»

— Что ты не выходишь на улицу? Чего лежишь все дома да дома? — обращаются к ней подруги, которые уже накрашены и напудрены так, что от них пахнет за десять шагов. И они обе выходят на улицу.

Случается, что одна из них вскоре возвращается обратно с гостем и все еще застает Сташу лежащей на своей кровати с папироской во рту.

Старшая — Стефка — в такие минуты не смотрит на нее: «какое, мол, мне до нее дело?..». Но младшей — Наче — которая втянулась в эту профессию всего восемь-десять месяцев тому назад, когда «сезон» был в самом разгаре и этот «товар» буквально рвали из рук, не по себе. Она, правда, ничего не говорит, но потом, когда гость уходит, она начинает укорять свою подругу.

Тогда Сташа берет ее за руку, усаживает подле себя на кровати, долго-долго смотрит ей в лицо и начинает об'ясняться:

— Послушай-ка, Нача, что я тебе скажу. Я старше тебя и дольше тебя занимаюсь этим делом... А чем все это кончится?.. Когда не было войны, все было как-то по-иному, совсем по-иному... А теперь они, эта немчура, эта собачья кровь, — они хотят душу вымотать у тебя за гроши. — И Сташа глубоко затягивается папироской.

— У них тебе надо работать четырнадцать, шестнадцать часов в сутки, чтобы хватило на новую шляпку или на пару панталон... Собачья кровь!..

Нача слушает ее, но едва понимает сотую долю того, что говорит ей Сташа. А то, что она понимает, с трудом находит доступ в ее душу...

«Чего тут рассуждать? — думает она про себя, — раз это так, значит, так оно и должно быть». И снова, как прежде, выходит она на улицу и все пересказывает Стефке, которая стоит у фонаря.

Выслушав рассказ Начи, Стефка смеется и, стреляя по привычке своими темно-подведенными глазами, кидает словечко:

— Она ведь философка!.. Ха-ха-ха...

Нача видит, что ее тетка смеется, и она тоже начинает хохотать вслед за нею, хотя ей и непонятно, что здесь, собственно говоря, смешного. Вот когда приходит Антек, который сватается к Сташке с того времени, когда ее «кузен» ушел в запас, когда он голою вытаскивает ее из кровати, держа ее за одну ногу, тогда, действительно, можно лопнуть со смеху... Но когда та же Сташа рассказывает уже о другом «женихе», который ее частенько избивал, тогда совсем другое дело... Тогда у Начи делается строгое и серьезное лицо: «За что же он бил ее? За что он бил ее?».

Сташа рассказывает также, что он, бывало, забирал у нее все деньги, напивался допьяна и затем ругался самыми мерзкими словами и колотил ее...

Думая таким образом, она решает, что тот, вероятно, был не бог весть какой хороший человек, и ей становится ясно, почему Сташа так говорит.

«Во всяком случае, — чего тут рассуждать? вон там, кажется, идет какой-то военный и что-то слишком присматривается к проходящей мимо девушке...»

Она сейчас же встряхивает гривкой и завитушками, всовывает ручки в карманы своего жакета и подплясывая идет ему навстречу. Заметив ее, он направляется к ней, смотрит ей в лицо и начинает улыбаться: видно, она ему понравилась...

В этот день Наче особенно везло: каждые полчаса вверх и вниз, вниз и снова наверх... А утром, когда она сосчитала деньги, то оказалось как раз достаточно для того, чтобы купить хлебец с колбасой и уплатить за пару полухолявок с каблуками к ее желтым ботинкам, которые порядком пострадали от беготни по тротуару.

— Что, разве я не права? — отзывается Сташа, — разве я это не говорила? Двадцать часов в сутки надо работать... Байстрюки они... собачья кровь!.. — И она растянулась на кровати, торопливо куря свою папиросу.

На этот раз Стефка тоже задумалась:

— Разве я этого не знаю?.. Еще раньше, чем Сташа... — И она глядит на Начу:

«Она ведь еще кровь с молоком!». И ей вспоминается ее сестра, мать Начи.

Ее шурин был взят на войну, а сестра умерла в госпитале. Все было продано. Осталась только Нача с двумя подушками, ватным одеялом и железной кроватью... Куда деваться шестнадцатилетней девушке, одинокой сиротке, в этом большом городе? И Стефе ничего не оставалось, как только взять ее к себе...

И при этих мыслях слезы навертываются у нее на глаза. Она видит, что Сташка говорит правду, сущую правду! Но что же поделаешь?.. Конечно, плохо, очень плохо!..

Она берет кусочек красной помады, мажет себе губы и говорит довольно равнодушным тоном:

— Боже мой!..

Нача прислушивается к голосу тетки, упирается локтями в колени, обнимает голову руками и повторяет:

— Боже ты мой... боже ты мой...

ГЛАВА XIII

В Варшаве нет хлеба! Белого хлеба и булок совсем не достать. Более того: нельзя таких вещей и показывать, даже если они у кого и имеются. Говорят, что немцы все отбирают и увозят к себе, в свою страну. Люди собираются на улицах, разговаривают, жестикулируют, но стоит только поблизости показаться блестящей каске, как все сразу исчезают, словно сквозь землю проваливаются...

Квартирка в узком переулке заперта на замок. Никого в ней теперь нет: все три обитательницы ее гуляют по улице взад и вперед, осматриваются по сторонам, встречаются друг с другом, стараются избегать друг друга и снова встречаются.

— Ни собаки не видно, — говорит Стефка.

— Кому же «это» теперь полезет в голову? — философствует Сташа.

— Но надо ведь купить хлеба, — говорит Нача.

Подойдя к лавочке, они входят туда и просят продать им хлеба.

— Нету, нет хлеба! — бормочет лавочник.

— Что значит — нету?

— Нету, и кончено! Такой приказ вышел: если найдут где хлеб, то отберут его да еще и оштрафуют... Ну, — прибавляет лавочник, — вот и не хочется иметь с ними дело.

Входят они во вторую лавчонку, в третью — всюду тот же ответ. Но в конце концов, уплатив требуемую

сумму, они все же достали кусок хлеба. Но цена на него была такая высокая, что они могли позволить себе только любоваться им, а не есть...

Перед их уходом из лавочки торговец утешал их:

— Ничего, будет хлеб, будет! Его будут раздавать по карточкам.

— Это что еще за новости?..

И вся Варшава — конечно, не центральная ее часть, а окраинные районы — говорила, волновалась и кричала. В мрачных подвалах, среди сырых стен, лежали дети с пересохшими губами, с язычками, как куски кожи, и взывали к своим матерям:

— Хлеба, мама, кусочек хлеба!

А матери — горе им, горе! — бессильны помочь. Хотя бы для грудного младенца извлечь глоток молока, хотя бы губки освежить, — но дави, высасывай, когда мертвы высохшие груди.

Кое-где в маленьких мрачных комнатках собираются молодые люди и о чем-то таинственно шепчутся... Бог ведает, чем все это кончится... Ибо всё — и улицы и дома — окутано каким-то черным туманом.

По дворам и улицам бедных кварталов бродит страшный призрак.

А по широким торцовым мостовым центра льется беспрерывный человеческий поток праздных, разодетых... Летят автомобили, шуршат экипажи, несется беспрерывный звон трамвая, смешиваясь с гулом толпы.

А откуда-то из замка, который немцы заняли под какое-то государственное учреждение, несутся радостные голоса, вырывающиеся из молодых здоровых грудей. А в предвечерние сумерки, когда солнце, спускаясь, становится похожим на большое красное яйцо, над которым ночь, подобно наседке, сейчас расправит свои черные крылья, — в это время из открытых

окон замка доносится музыка «победителей», и музыка заглушает уличный шум и гул. Гордые звуки «Стражи на Рейне» * вырываются оттуда и далеко и широко разливаются кругом.

ГЛАВА XIV

Вечереет. Пассажиры уже в каретках. Тепло на дворе, — и поэтому навесы сняты и обернуты вокруг длинного шеста, который тянется поверху во всю длину каретки, над полукруглыми обручами, образующими крышу. Извозчики не торопясь берутся за вожжи и с криком: «ой-ша, вь-о», едут по улицам Варшавы, — к широкому тракту, к местечку.

Мендель — в сапогах, сшитых на его мерку, в суконной тужурке и фуражке с блестящим козырьком, — шагает возле лошадей и в то же время поглядывает по сторонам — на случай, если подскочит какой-нибудь вор...

Возле повозки Пантеля идет также и Файвка, его молодцеватый завиток спускается до самых глаз... Поровнявшись с Менделем, он идет с ним рядом, и они оживленно беседуют, в кармане позвякивая деньгами.

У фонаря стоят три девушки и стреляют глазами. У Сташки чулки порядком потрепались, и уже нельзя даже починить их... И пара новых панталон ей до крайности нужна...

Увидав девушек, парни друг друга за рукав хватают, а Файвка подскакивает к ним с вопросом:

— Паничка, сколько хочет паничка? — и при этом он хитро подмигивает.

---

* Немецкая патриотическая песня.

Мендель, хотя по природе он не очень общителен с чужими, не хочет, однако, и вида показать Файвке, что стесняется. Поэтому он тоже вставляет:

— Ну, пойдем?

Нача смеется, хохочет и от избытка радости даже изгибается. «Забава» настоящая! Но старшие, как более практичные, сначала сговариваются о цене, и когда уже надо итти, Файвка вдруг выпаливает:

— Ха-ха-ха! Наши подводы уже вон где! Ха-ха-ха!

Девушки столбенеют от неожиданности; к тому же жалко и заработка. Тогда Мендель успокаивает их:

— Пойдем туда, на подводы. Ничего!..

Оба хохочут, а Файвка подмигивает и заносит правую ногу, словно собираясь плясать.

Подводы тем временем отмерили уже порядочное расстояние и стали заворачивать в боковой переулок. Увидев это, парни начинают рассказывать девушкам, что они везут «контрабанду» в Варшаву, что приезжают сюда три раза в неделю и направляются прямо в заезжий двор, всегда, когда только начинает светать.

В этот вечер девушки больше на улицу не выходили. Они расшнуровали свои юбки, распустили косы и, усевшись на Сташиной кровати, долго между собой беседовали.

Сташка как-то совсем переменилась. Не по-обычному, она теперь внимательно прислушивается к их речам, а сама полслова не вставляет. Поднявшись с места, она несколько раз прохаживается взад и вперед по комнате, покуривая папиросу. Внезапно она останавливается, высоко подымает голову, и в глазах ее светится радостный огонек. Она кидает на пол недокуренную папиросу и, приподняв юбку, вскакивает на столик и усаживается на нем:

— Девки, — восклицает она, — у меня есть план. Хорошая мысль! Ко всем чертям!

— Не вспоминай имя нечистого, — говорит Стефа с усмешкой, но Нача всерьез крестится.

— Сестрицы, — начинает она печальным голосом, — чего нам околачиваться здесь в Варшаве? Разве не чудо, что мы до сих пор еще кой-как держимся!.. И разве это не надоедает?..

Она на минуту задумывается, болтает ногами; сквозь тонкие чулки, словно через решотку, просвечивается тело. Но вдруг она ударяет себя по коленям и тем же унылым голосом произносит:

— Ради всего святого! Возьмемся за спекуляцию! Все ведь зарабатывают на этом — ну что же? и мы заработаем. Ну, что скажете?

Обе подруги задумались. Стефке, которая глубоко вошла в теперешнюю свою профессию, показалась чуть ли не грехом мысль — бросить теперь все это и взяться за спекуляцию, за торговлю.

Но у Начи заискрились ее голубые глаза, как два круглых сверкающих неба. Ее губки расцвели и заалели. Ей тотчас же представились поля в летнюю пору, осыпанные цветами. Что-то потянуло ее туда. Она вспомнила, как когда-то, совсем еще ребенком, она гостила в деревне у крестной матери, как она тогда бегала по лугам вокруг деревни, как она искала птичьи гнезда на ветвях деревьев. Так все ожило и воскресло в ее памяти, и над всем этим — мысль о новой жизни, совершенно новой... хотя и здесь ей не плохо живется... «благодарение богу и за то...»

И она восклицает:

— Да, сестрица, ты хорошо сказала. Ну и заживем же мы на славу! Будем ездить в каретке, по дороге

будем распевать песни... Не так ли, Стефочка? Ведь поедем?

Стефка тоже, наконец, находит этот проект довольно подходящим. «Чем собственно мы тут рискуем... К тому еще может подвернуться и муженек... все ведь возможно».

И все трое обнимаются и целуются. Затем они раздеваются и ложатся спать. Как давно уже они не отдыхали так — спокойно и притом одни!

Одна только Нача переворачивается с боку на бок и долго не может заснуть. Она тихо покидает постель, зажигает лампочку, и Стефка просыпается и удивляется, что Нача ходит голая по комнате. Девушка залезает к ней в постель, крепко прижимается к ней всем своим телом и страстно целует ее грудь.

Девушки с минуту переговариваются меж собой, и Наче кажется, что она сделалась какой-то обновленной.

— Что это со мной сегодня? — спрашивает она у тетки.

Но та уже снова задремала и сердито заговорила спросонья:

— Спи уже, спи, девчонка!

Девушка застыдилась и, лежа на спине, смотрит во двор на противоположную стену, которая вся окутана лунным светом. Она задумывается над происшествием сегодняшнего дня, перед глазами ее встают оба парня, которых она видела в вечерние сумерки, и она мысленно представляет себе, как она будет с ними говорить.

Когда мысли начали уже путаться в ее голове, вдруг раздается шорох за дверью. Она тихо приподымается, чтобы не разбудить тятю, и прислушивается.

Кто-то за дверью нащупывает дверную задвижку и двигает ее. От скрипа просыпаются остальные и, присев, спрашивают:

— Кто там?

— К паненкам, — слышится пьяный голос, который надорванно и хрипло отдается в ушах.

Снова зажигают лампочку, и подруги вопросительно переглядываются меж собой.

— Я не хочу, — первая произносит Нача, как будто нежась.

— И я тоже, — говорит Стефка, вспоминая про Сташины порванные чулки.

И Сташа открывает дверь.

ГЛАВА XV

У Файвки дела пошли хорошо. С тех пор, как он связался с Матеехой, у него ни разу ничего не отобрали, и его считали уж обладателем многих сотен рублей. К празднику пятидесятницы * он заказал себе новый костюм и притом у самого Арелэ Квартирмейстера, отца Ичелэ.

Он условился, что брюки ему сошьют с широкими отворотами снизу и с двойными пуговицами. Он сам до войны тоже был портным, получал уже в Варшаве четыре рубля в неделю. Тужурку он велел сделать с наружными карманами, как у немцев.

Только встанет он со сна, — сейчас же бежит к Арелэ.

— Ну как с моим костюмом?

— Еще только раз примерить, — отвечает Ичелэ за отца.

Файвка вылезает из своих спекулянтских полотняных штанов и начинает примерять весь костюм.

---

* Соответствует Троице.

— Погляди-ка, здесь, кажется, нехорошо сидит, — обращается он к Ичелэ, глядя в зеркало. Но в душе он доволен.

— Сделано недурно.

— Э, пустяки, сущие пустяки! — прибавляет Арелэ сам, подходя к Файвке и поправляя на нем костюм.

Затем они выходят на улицу. Там они встречают Берчика, служащего Короля, с Мулей Белым и Авремче, сыном Велвела, из-за кого все еврейские девушки и польки сходят с ума. Разыскав Менделя, вся компания отправляется к трактирщику Эле и принимается за выпивку «сколько угодно».

— Эх, братцы мои!—начинает Мендель после третьего стакана, — поглядели бы вы на трех девок — сметана!.. — и он аппетитно причмокивает губами.

— О каких это девках ты говоришь? — посмеивается Берчик, думая, что Мендель говорит спьяна.

— Файвель, расскажи им, какие девки... разожги тебя огонь!

Файвель начинает рассказывать вчерашнюю историю: как они встретились с тремя девками, и как они с ними говорили.

Парни слушают с напряженным вниманием, и у Берчика, который всегда держит рот открытым, слюнки текут.

— Слышите? чтоб вас огонь пожрал! — заканчивает Файвель свой рассказ.

Авремче, сын Велвела, шевелит бровями и осушает одну рюмку за другой.

— Были бы они хоть здесь, — говорит он, — тогда было бы дело...

— Ни в коем случае! — выскакивает Ичелэ.

Авремче, конечно, хочет проучить его.

— Что это значит? Я не признаю никаких «ни в коем случае!». Разве ты, несчастный портнишка, не знаешь, кто такой Авремче, сын Велвела?..

Но все защищают. На то ведь он Ичелэ! Разве есть такая книга, которой бы Ичелэ не прочитал? А его «диклимация»!.. Но Авремче, у которого в голове уже больше, чем у другого в бутылке, упорно становится один против всех. И кто знает, чем бы это все кончилось, если бы дело неожиданно не обернулось совершенно в другую сторону.

В самый разгар перепалки, когда Авремче уже держал бутылку за горлышко и, пьяно пошатываясь, стал наступать на Ичелэ, внезапно открылась дверь, и Кривой Гройнем высунул оттуда голову. Одним прыжком он очутился возле Файвеля и, схватив его за шиворот, стал трясти, как веточку.

— Послушай, брат! Печонки я тебе раскромсаю! Все кишки я у тебя выпотрошу! Чтобы огонь вошел во все твои внутренности!

На минуту все останавливаются в смущении. Но, быстро опомнившись, они прежде всего стараются высвободить Файвеля из «лапы» Гройнема.

— Он ведь способен и железо превратить в осколки!

Муля Белый, которого все местечко называет «Силачом», обращается к нему довольно спокойным голосом:

— Что произошло? Что ты так злишься, Гройнем, а?

— Какое твое мерзопакостное дело?—отвечает Гройнем, и слепой глаз начинает дрожать и блещет влажной краснотой из-под кожного покрова.

— Оставь, Гройнем, что это за разговоры? — вмешивается Мендель и наливает ему стакан пива.

Гройнем садится и залпом выпивает стакан. Мендель наливает ему второй, и он снова осушает, затем третий, четвертый...

Но белая голова его — все в том же напряженном созерцании, нос тоже становится белым от гнева, а глаза его затягиваются пеленой, как будто они заплыли жиром.

— Что ты хочешь, братец? — спрашивает, наконец, Файвка, и лицо его бледно, как полотно.

— Гройнем не мальчишка какой-нибудь!

И Гройнем продолжает пить, и пена льется через рот прямо под воротник, так что кожа начинает на нем дрожать от холодной влаги. Видя это, Файвка бодрится:

— Ничего! Я, Файвка, тоже в грязь лицом не ударю!

И снова к Гройнему:

— Чего же ты, в конце концов, так взъелся на меня?

Гройнем, который тем временем успел остыть от большой дозы пива, которую он влил в себя, отвечает уже довольно спокойно:

— Нечистая сила побери твою мамашу! Когда же ты совершишь обряд обручения?..

Оглушительный хохот всей компании несется в ответ. Парни уж начинают обмениваться замечаниями по этому поводу, а Файвель мигает, не переставая.

— Ты ведь знаешь, братец, песенку:

„Да нищих пустились в пляс,
А в кармане у них ни сента ни пенни".

— Чтобы ты сгорел, окаянный! — смеется уже Кривой Гройнем, и рот его с расщепленными губами кривится в странную улыбку.

— Чтобы ты знал, что Райчель (Рахиль) уже делает приготовления: кусок жирардовского полотна она уже купила...

И он забрасывает руку за шею Файвеля и смотрит ему глубоко в глаза.

— Что так пристально смотришь? Не знаешь меня, что ли? — И холодная дрожь пробегает по телу Файвеля от взгляда Гройнема.

— Почему ты ни о чем не говоришь с Райчель в дороге? — снова начинает горячиться Гройнем.

— Кто? Кто тебе это сказал?

— Что значит? Моя сестра сама мне это рассказывала.

— Ну, если так, пойдем-ка и спросим ее.

— Пойдем.

Они встают и выходят вместе, держа руки на плечах друг у друга. Уходят, даже не поглядев на товарищей, а те, как пришибленные, остаются на своих местах.

— Райчели здесь нет? — спрашивает Гройнем, заглядывая в комнату Копеля.

— Она только что вышла одеваться, — кричит им жена Копеля.

Они быстро шагают через сени, открывают дверь, и от неожиданного потрясения рука Файвеля соскальзывает с плеча Гройнема, и он останавливается, как вкопанный. А у Гройнема быстро поднимается кожица над слепым глазом, и страшная сверкающе-красная бездна глядит оттуда.

Райчель, совершенно нагая, стоит к ним спиной и оборачивает вокруг себя куски мяса, из которого еще течет кровь. Она оборачивает их вокруг грудей, живота и ног. Сплошные куски холодноватого сырого мяса прилипают к ее теплой коже. Каждый кусочек мяса она обматывает и привязывает вокруг себя веревочками, затем соединяет их одной общей веревкой через плечо, привязывая еще раз один кусок к другому — это страшно, и похоже, будто с живого человека содрали кожу.

Файвель помимо своей воли задрожал, но в то же время он весь просветлел, полный удивления и восторга перед ее находчивостью.

— Райчель! — обращается Гройнем к Файвке, — видишь, как она умеет зарабатывать, чтоб тебя всего переломало!

Райчель краснеет от стыда при виде того, кто будет ее женихом, хватает платье и торопливо набрасывает на себя.

— Райчель, — продолжает Гройнем, — Файвка говорит с тобой о чем-нибудь в дороге?

— Что ты пристаешь ко мне? — спрашивает она все еще стыдливо.

— Ни, ни, — хочет уж Гройнем сам отделаться от этого разговора, видя смущение обоих:

— Что ж, ты уж больше не возишь муки?

— Муку я отдельно везу. Но мясо дает больше прибыли.

Файвель проникается уважением к Райчели, и она кажется ему каким-то иным, высшим, чем он, существом.

«Разве взбредет кому на ум искать на теле человека?..»

— Слышишь, Гройнем, — восторженно восклицает он. — В начале следующего месяца мы напишем свадебный контракт *.

Гройнем тоже входит в азарт, кожица на слепом глазу его начинает подергиваться, и он кидается с поцелуями к Файвке.

— Чтоб тебя всего переломало! Видишь, на что Райчель способна! Ну, поди-ка сюда, Райчель! Да иди же! Теперь ведь вы уже жених и невеста!

---

* Контракт — по-еврейски „тноим“, соответствует обряду обручения.

И он тянет к себе сестру и толкает прямо в об'ятия Файвки.

Острый запах сырого мяса бьет ему в нос, и ему становится почти дурно. В эту минуту он уже раскаивается, что дал такое обещание... И когда Гройнем смеется своим грохочущим смехом и старается покрепче прижать их друг к другу, он чувствует, что задыхается, что тошно ему, что еще одно мгновенье—и ему не удержаться от рвоты.

Он мучительно ищет какого-нибудь исхода и, осененный внезапной мыслью, он восклицает:

— Слышите! Я решил совершить еще одну поездку до субботы!

Он вырывается из об'ятий девушки и убегает от нее, как от чумы.

ГЛАВА XVI

Как только подвода Пантеля подкатила ко двору заезжего дома, к ней сейчас же подошли три девушки и стали расспрашивать насчет двух парней в тужурках и фуражках.

Мендель, в это время снимавший с подводы вещи, сразу узнал их и соскочил с козел. После бессонной ночи он казался гораздо старше своего возраста: лицо грязное, волосы всклокоченные, путается в них солома. Но для девушек нет никого краше его.

— Когда пан собирается обратно отсюда? — спрашивает его Сташа, которой подруги поручили вести все переговоры.

— В пять-шесть, — отвечает Мендель. Только теперь при свете дня он замечает кругленькое личико младшей девушки, с пухлыми губками. Запах духов, который несется от всех троих, ошеломляет его оконча-

тельно. Он вдруг начинает испытывать такую усталость, что, кажется, дал бы «миллион», лишь бы лежать уже в постели...

— Сколько вы берете с пассажира? — спрашивает снова Сташа.

— Что, вы хотите ездить вместе с нами? — удивленно спрашивает Мендель. И сразу чувствует себя совершенно бодрым, как будто бы его никогда и не клонило ко сну.

— Да, мы хотим заняться спекуляцией.

— Вот как? — восторгается Мендель,—ну, если так, то пусть будет на счастье! «Чтоб не завелись мыши у вас за пазухой!» — повторяет он изречение Ичелэ, и они отвечают ему веселым смехом.

А пока все пассажиры уже успели слезть и убрать свои узелки.

Пантель раскричался на сына:

— Чего ты там остановился? Выпрягай лошадей!

Мендель подходит к лошадям и указывает отцу на трех девиц.

— Видишь, отец, — говорит он, — они хотят ехать вместе с нами.

— А к кому они едут? — спрашивает Пантель.

— Ни к кому. Они хотят заняться спекуляцией.

— Спекуляцией?

И Пантель вдруг встрепенулся. Он подходит к ним.

— Куда вы хотите ехать? — спрашивает он и затем, приглядевшись к младшей, думает про себя: «Вот такая если бы сошлась с тобою, Пантель, — тебе бы ничего не надо было бояться, и ты мог бы везти с собой даже целых два мешка».

— Мы хотим ехать с тобой. Возьмешь нас?

— Почему же нет? Лишь бы заплатили!

— А сколько?

— По три рубля с персоны.

— Цц-цц! Значит, девять рублей за нас троих, да?

— Девять рублей, — повторяет Нача, теребя ее за рукав.

— Цц-цц! — повторяет также Стефка.

— Вы хотите спекулировать?—спрашивает Пантель.

— Пусть пан нас только выслушает, — начинает Сташа. — Да, мы хотим спекулировать, но не знаем, как и что. Мы видим, ты человек благородный. Как ты нам скажешь, так мы и сделаем.

«Значит, теперь на моей улице праздник», — думает про себя Пантель.

— Ну, как думает пан? — беспокойно переспрашивает Сташа, видя, что он колеблется.

— Понимаете ли? — собирается им ответить Пантель, но сейчас же умолкает и начинает почесывать бороду. Но скоро он решает твердо: поговорить с ними начистоту.

— Слышите, что я вам скажу? Все может пойти хорошо, очень хорошо. Но прежде всего: есть ли у вас деньги? и много ли?

Когда те отрицательно качают головой, Пантель продолжает:

— Вот видите!.. а в дороге ведь отнимают... значит, не годится... Но я знаю, как сделать, чтобы не отобрали... Понимаете?..

— Понимаем, понимаем, — отвечают они, хотя никак не могут взять в толк, в чем дело.

Между тем подходит «Бритая Голова» в кожаной куртке и сапогах с лакированными голенищами и заводит беседу с Пантелем насчет сегодняшних цен на муку.

— Я слыхал, — говорит он медленно и резко,—что во вторник ты продал на Охте два пуда муки!

— Да, — отвечает Пантель, — он платил на три рубля дороже, чем ты.

— Но чтобы это было в первый и последний раз,— говорит «Бритая Голова», повышая тон. — Слышишь?

— А если нет?

Тот, не отвечая ни слова, заносит руку и крепко сжатым кулаком замахивается на Пантеля. Но в это время входит Мендель (лошади уже в конюшне), хватает «Бритую Голову» в самый горячий момент за руку, удерживая занесенный кулак. От суматохи девицы пугаются на-смерть. Они не понимают, что здесь происходит, но для них ясно, что дело серьезное. Между тем начинают собираться обитатели двора: слепой Пейсах, Иосель-Нотэ из столовой и парень с биноклем, только что в'ехавший во двор. Все стараются унять и примирить обе стороны. Но «Бритая Голова» все еще продолжает угрожать:

— Здесь, с этого двора никому нельзя продавать, только мне одному. Понимаешь?..

— Ты что? Воображаешь, что я мальчик?.. — не может удержаться Пантель.

Но кончилось дело тем, что Пантель должен был поставить для всех водку и закуску: с «Бритой Головой» ведь шутки плохи.

Немного погодя, на дворе стало совсем тихо. Подкрепившись едой, Пантель, усевшись на дышле своей каретки, продолжал разговор с девицами. Он все говорил и, повидимому, был очень доволен: ноздри его раздувались во всю ширь, а глазки сузились: не глаза, а щелочки.

Когда девицы пошли домой готовиться в дорогу, Мендель уже лежал под скамейкой и храпел. Возле него спал Давидка, уже продавший свою муку, деньги запрятавший в мешочек, пришитый к рубахе.

Один только Пантель не мог заснуть; отчасти из-за «Бритой Головы», — ведь это не шутка! Здесь все дрожат перед ним! Отчасти же — и главным образом — из-за своих новых пассажирок.

«Хе-хе-хе! — думает он про себя, — теперь начнутся совсем другие поездки, совсем другие!»

И когда младшая девка приходит ему на память, он весь багровеет, облизывается, как в холостые годы, и лицо его расплывается в блаженной улыбке: «Ха-ха-ха, ну и девка же, ха-ха-ха!..»

Немного погодя он приказывает Менделю приготовить более удобное сиденье. Мендель понимает, для кого это, но недоумевает, чем это они так понравились его отцу.

Вечером, когда девицы явились с терновником на головах, Пантель сам указал им места. Они сейчас же вошли в каретку и уселись, хотя до от'езда оставалось еще не меньше часу.

Мендель был занят лошадьми, а Пантель стал у ворот и пощелкивал кнутом, — не набежит ли еще пассажир.

Тем временем собрались все постоянные пассажиры. Когда старый Шайка уселся возле Давидки, как раз напротив девиц, — он сейчас же выхватил табакерку с нюхательным табаком и отправил в нос здоровенный заряд, — чтобы заглушить крепкий аромат духов, которые принесли с собой девицы.

Пантель вертелся, суетился, бегал взад и вперед, часто мимоходом бросая взгляд в подводу, и руки его что-то вдруг дрогнули, когда он первый раз стегнул лошадей, выезжая со двора...

ГЛАВА XVII

Местечко свободно вздохнуло. Пекаря, самогонщики, мыловары, папиросные торговцы, трактирщики, мясники и вообще спекулянты всех видов, — возносили хвалу всевышнему, который не оставляет без своих забот даже последнего червя и который, наконец, избавил их от этого проклятого Гамана *...

«Ведь при нем было совершенно невыносимо!..»

И действительно, хромой комендант вполне заслужил такое прозвище. За те две недели, которые он царствовал здесь, он сделал несчастным по меньшей мере половину жителей местечка.

Когда он только что приехал, он произвел на все местечко впечатление человека неплохого, по крайней мере по внешнему виду: высокий, худощавый, прихрамывает на одну ногу — ранен на войне.

Но уже на другой день у спекулянтов отобрали весь товар с подвод. Затем он принялся за самогонщиков. У него был какой-то собачий нюх. Стоя у форточки магистрата, он чувствовал запах «завара» со стороны центральной улицы...

Это он сделал несчастными Давида-Ицхока и Янкеля-банщика. О последнем в городе рассказывали целые истории.

Жил Янкель-банщик в маленьком домике на втором этаже. Ступеньки, которые вели к нему, были похожи на куриные насесты, а некоторые были так поломаны, что надо было держаться все время за длин-

---

* В апокрифической книге «Эсфирь» Гаман выступает как враг евреев, требовавший от царя уничтожения всех евреев. В переносном смысле Гаман означает — антисемит, а иногда просто — злой человек.

ный прикрепленный сбоку к ступенькам шест, чтобы внезапно не провалиться. Вся лачуга походила на кущу, выдвигавшуюся из задней части дома, и упиралась она своими углами на столбы.

В этой-то лачуге Янкель делал свой завар, держал котел и варил водку. Но сколько к нему ни заходили люди, желая узнать, где он варит, никому никогда не удавалось что-нибудь обнаружить, что-нибудь узнать в доме.

Находились, однако, которые сильно «страдали» от этого:

«Что значит? Он себе будет варить как ни в чем не бывало?».

И часто совсем неожиданно, когда знали наверняка, что он теперь варит, к нему в лачугу вваливался вахмистр со своим неразлучным спутником — егерем; еще стоя на ступеньках, он начинал колотить шашкой в дверь.

Тогда изнутри раздавалось «кто там», и жандармам приходилось минуты две ждать, прежде чем им открывали дверь.

Внутри видно только, как в печке горит огонь. Печь открыта, и огненные языки выскакивают оттуда и пляшут по направлению к потолку. В комнате полно пару, и влажная сырость ложится на лица пришедших.

Они сейчас же узнают, что это не спроста, и принимаются за обыск. Но где тут, с позволения сказать, искать? Вся комната величиною с гроб, а стены такие, что можно, кажется, все насквозь увидать. Искали под кроватями, под столиком, поснимали со стен кое-какую одежду, подошли к единственному стоявшему в комнате боченку, уткнули туда головы и видят — капуста, квашеная капуста...

Что им оставалось делать? Правда, идет пар, какой-то особенный пар, и они чувствуют странный запах, тот запах самогонки, который немцы изучили до тонкости. Но на печке кипит шумно варево, и какой-то крепкий запах заглушает не вполне отчетливый запах водки. А жена Янкеля-банщика режет луковицу, бросает ее в кастрюлю, голову держит в наклонном положении, повернувшись ко всем спиной, и из глаз ее льются слезы от крепкого луку.

— Извините, пожалуйста,—обращается она к ним,— что в доме такой запах: мы готовим суп с жареным луком...

И что же? Немцам пришлось уйти ни с чем.

Но когда пришли к «Гаману» и донесли:

— Знай, мол, пан комендант, что Янкель как раз теперь варит, — он сейчас же отправился туда.

А доносчики уже хлопали себя по бедрам.

— О, «Гаман» уже их накроет!..

Когда «Гаман» вошел в лачугу Янкеля и увидал там ту же картину, что его предшественники, он нисколько не смутился; наоборот, он самодовольно засмеялся. Он своим собачьим обонянием уже пронюхал водку и знал, что нос его, как собака-ищейка, доведет его до главного источника...

Прежде всего он стал обыскивать, как и прежние; но он также открыл ящик от столика и нашел там спиртометр.

Тут он радостно воскликнул:

— Вот оно!..

Теперь он уже начал обыскивать медленно, шаг за шагом; он постукивал в стены, глядел вверх на потолок, смотрел в окошко, которое было наверху, как во всех чердачных помещениях, и ему не понравилось, что там стоит теперь скамейка, а самое окно приоткрыто:

«Здесь совсем не так жарко, — думал он про себя, — и притом евреи совсем не так жадны до свежего воздуха...»

Он подошел и стал на скамейку.

У Янкеля-банщика и его жены душа ушла в пятки. Янкель смотрел на свою жену разбойничьим взглядом, который, казалось, кричал: «Окаянная! Не могла градусника запрятать!.. В столик положила, чтоб тебя в гроб положили!..».

А тот, «Гаман», стоит на скамейке и обнюхивает. Вдруг он видит, как из-под подоконника подымается пар, через углы и щели уносится на свежий воздух.

Он начал стучать рукой, почувствовал пустоту и приподнял доску подоконника.

Супруги исступленно завизжали.

А комендант вынимает оттуда котел, который еще довольно сильно кипит, затем куб, бутылки и стаканчики. Затем он спускается вниз, и все его тело и вся его одежда хохочут от радости. Даже хромая нога его как будто хрустит от смеха... Тогда он начинает обыскивать и ощупывать еще раз все окружающее. Он втыкает саблю в бочку с капустой и останавливается, пораженный: сабля не пролезает вовнутрь и торчит поверху. Тогда он уже ни на что не глядит, и подобно собаке-ищейке в последний момент, когда она уже готова броситься на свою жертву, он засучивает рукава своего мундира, в'езжает руками в мокрую сгнившую капусту и вытаскивает оттуда боченок с «заваром».

И у реб Иуды он забрал на целых полторы тысячи марок! Только к Ицхоку-Йойне он не показывался.

Иосиф Лялька по этому поводу хвастался:

— Раз мы работаем в саду и Грегер с нами, то нам нечего бояться...

И они, действительно, варили чуть ли не среди бела дня. А Айзелэ таскал целые кубы с водой, и на его лбу и щеках темнели полосы засохшего пота, которые он смывал раз в неделю, по пятницам.

Но как раз в эту самую ночь комендант встретился с ландсманом и егерем, у которых на шее висели их «служебные цепи», — и они вместе отправились в сад.

Рассказывают, правда, что в тот же вечер, через час после того, как накрыли фабрику Юделя, их сын или дочь пошли гулять за город, и их видели возле двух'-этажного дома, в котором живет вахмистр.

Но это все неважно... Достаточно, что Ицхок-Йойна снова остался гол, как сокол, совершенно нищим, без гроша за душой.

— Что делать, что делать дальше?

Пухленькие щечки Брайнделэ от большого огорчения поблекли. Но Лейбеля это так же трогало, как прошлогодний снег: он все ходил с рассеянной улыбкой на лице и смеялся всем в лицо...

А Грегер? Бедный Грегер!.. Он так же виноват в первом обыске, который был у Ицхока-Йойны, как правда то, что он теперь в Америке... Ибо ему и так уже надоела и осточертела эта варка... Он только хотел еще пару недель поработать, а затем заарендовать где-нибудь сад для себя самостоятельно. «Фруктовый сад дает теперь хорошие доходы, да к тому же это вполне легально!..»

Грегер вообще по натуре своей был большой трус. Он любил только много говорить...

«Вот тогда, например, к чему это надо было так пугать людей?.. Но такой уж у него характер!»

И действительно, когда он слышит, что кто-нибудь говорит, он никак не может заставить себя молчать...

Боже, сколько ему достается от жены за такой характер!.. Но — ничего не поделаешь!..

Когда рассказывают о каком-нибудь удальстве, о геройских приключениях, тогда в нем вдруг начинает играть героическая жилка, и когда ему попадается чужой, который недавно лишь поселился в местечке, или когда он сидит среди более молодого поколения, он без всякого зазрения совести рассказывает, что во время побоища с «кацапами» он был первым, бросившимся на них... Или во время пожара, например, — здесь он обнаруживает все свое геройство... а в чем? в суетливой беготне с задранной вверх фуражкой...

Бедный Грегер! Все свое маленькое состояние он вложил в это дело; немножко даже попризанял, купил два пуда сахару, заготовил, думал, дороже станет...

Но скорая смерть скосила его — хромого коменданта. И на его место приехал новый, тоже молоденький, но — золото, а не человек!

Что ему за дело—спекулируют ли, гонят ли водку?.. У него есть скрипка, и он сидит и играет на ней.

Случается, что солдаты в круглых касках отбирают что-нибудь на свой собственный риск и страх и приносят это к коменданту. Но он только смеется и возвращает отобранный узелок его собственнику.

Веселый парень! Гуляет себе, ездит верхом и разговаривает со всеми дружелюбно и приветливо...

Бог послал избавление своим евреям, и у всех уже снова заработали «машины»: появились снова котлы, бочки — и работа закипела во-всю.

ГЛАВА XVIII

Когда новый комендант в'езжал в местечко, все уже ожидали его на улице: «посмотреть, как он выглядит».

Сестры Хвойнарские, две дочки польского трактирщика, вышли на улицу расфранченными: старшая, брюнетка, — в белом платье, белых туфлях и белой соломенной шляпе; младшая, рыжая, — в коротком «краковяцком» зипуне, с разноцветными полосами, с лифчиком цвета бордо, плотно облегающим грудь и застегнутым на все крючки, с пестрым монистом на шее, с цветным платком на умеренно-мужицкой голове, в желтых ботинках с высокими голенищами на больших медных спортивных застежках. С большими букетами цветов в руках они под руку прошлись по улице, по направлению к комендатуре...

На улице на них были устремлены сотни глаз. Старики опускали головы и сплевывали: «бесстыдницы!..». Но молодые парни смотрели пристальным взором, и у каждого ёкнуло сердце, словно у человека, которому после трех дней голодовки вдруг показали свежеиспеченную булочку...

Даже девушки смотрели на них с глубокой завистью... Ах, сколько бы еврейская девушка отдала, чтобы ей позволили нарядиться, как «настоящая полька», и в таком виде показаться на улицу!.. Ведь парни лопнули бы, глядя на них.

Файвка, Мендель и компания стоят и любуются: «чтоб их огонь пожрал!..». А Ичелэ повторяет свое излюбленное выражение:

— Смачные девчонки!..

Только Вове, крупному торговцу солью, который не торгует уже со времени первой мобилизации, вдруг западает в голову грешная мысль. Не то чтобы... о, нет — он уже много лет назад, — не при других будь сказано! — потерял способность... Но дочка у него — принцесса!.. Важные господа с ума сходят по ней... она ослепляет, как солнечные лучи... Вот как раз

в последнее лето перед войной ее увидел один «магнат», владелец деревни с полями и лесами, и стал приставать к нему: «Крести, мол, свою дочку непременно...»

И теперь, видя, как сестры Хвойнарские входят к коменданту с цветами, он начинает подумывать о том, не послать ли и ему свою дочку к нему. Конечно, он ее научит, как ей говорить и как смотреть, как стоять и как сидеть: дело ведь не шуточное!.. и разве он ей не отец?..

Так размышляет реб Вова. И он живо представляет себе, как его дочь стоит эдак перед комендантом и просит его, чтобы он выдал ее отцу разрешение на доставку вагона соли. А он, комендант, не сводит глаз с нее — ведь они все с ума сходят от одного ее взгляда! — и не может ей отказать.

— Ну что ж?—произносит он, как бы решившись,— а если он притронется к ней, погладит ее, прикоснется к ее руке — что тут за беда?

А сестры Хвойнарские уже наверху, в комендатуре, с букетами в руках, и спрашивают, улыбаясь:

— Чи ест пан комендант?

Комендант в это время чистит щеткой свое платье; заметив их, смущается и приглашает их к себе в комнаты.

— Bitte, bitte, — обращается он к ним по-немецки,— заходите, пожалуйста.

Они входят, разговаривая и смеясь, но хохочут больше, чем говорят.

— Дзень добрый, пану комендантови! — говорит старшая, сверкая своими темно-карими глазами. Но рыжая хохочет громко и произносит на немецком языке, с еврейским акцентом:

— Gut Morgen, Herr Komendant! (Здравствуйте, господин комендант!).

Немцу это очень нравится, и с первых слов он уже испытывает какое-то особое наслаждение... Его недовольство по поводу того, что его назначили в такое маленькое местечко, постепенно исчезает... наоборот... И он звонит денщику и приказывает приготовить чай.

Денщик приносит чай с закусками, а другой солдат вносит бутылку коньяку, который уже успел прислать Хана Винодел.

Комендант, весело смеясь, наполняет рюмки и чокается с девушками. Они берут не сразу, а заставляют себя просить. Он обнимает брюнетку, опрокидывает ее головку, вливает ей коньяк в открытый рот и в качестве закуски угощает ее поцелуем. То же повторяет он с рыжей...

Немного погодя они пьют чай и беседуют меж собой. Трудно назвать это беседой: каждому из них непонятны слова другого, но все же кое-как сговариваются, а главное — они понимают друг друга... Улыбочка, обмен взглядами, хохот — и смысл этой речи всем понятен. Больше всего хохочет младшая, — такой уж, видно, уродилась. А может быть, это оттого, что ротик у нее маленький, а зубки белые?.. А когда она смеется, она к тому еще зажмуривает глазки, и страстным вожделением горит ее лицо.

Но коменданту старшая тоже нравится, может быть, еще больше, чем рыжая... Они бегают по комнате и играют в жмурки: поймает он одну из них, отпустит и вновь ловит... И порой внезапный звонкий поцелуй врывается в игру.

Затем он вынимает скрипку и играет какую-то очень приятную мелодию. Вскоре он кладет скрипку на стол и что-то шепчет на ухо брюнетке, но она ни слова не понимает... Он гладит ее по шее и смотрит на ее грудь, подымающуюся из-под глубокого выреза... а ноги

его как-то странно подгибаются... Тогда он внезапно, как бы спохватившись, начинает громко хохотать... Смех заглушает и разгоняет все злые мысли... Смеется и младшая, а вслед за ней и брюнетка. Тогда ему представляется удобный случай в первый раз обнять брюнетку за талию, и он крепко прижимает ее к своей груди...

А рыжая указывает через окно, выходящее на рыночную площадь, на зеленые двери отцовского трактира и на отца, который в это время как раз стоит на ступеньках...

Радуется комендант—ему это очень приятно... И от избытка радости он не знает, куда их посадить... Он то сажает их на свою походную кровать, то вдруг ему эта поза не нравится, и он переносит их на руках и усаживает на стол...

А позади двери стоят: унтер-офицер, писарь в очках, егерь и еще два-три солдата. Им чрезвычайно нравится эта история, и они потирают руки от удовольствия: они видят в этом хорошее предзнаменование:

«Этот не будет вмешиваться всюду как прежний...».

ГЛАВА XIX

В субботу после обеда собираются все парни, умытые, принаряженные, в цветных рубахах без воротничков, с открытыми загорелыми шеями, — и все вместе отправляются в «билитею» *...

Первым и впереди всех идет Грегер. И по праву. Ведь это он был первый, подавший начальнику уезда прошение насчет «билитеи»... Что ж? местечко хорошо зарабатывает, а когда приходит суббота, то молодежи

---

* Библиотека-читальня

некуда деваться: парни околачиваются по улицам и не знают, как убить время, девушки тоже! так пусть хоть будет место, где можно друг с другом слово вымолвить, а иногда — если представится удобный случай — и потанцевать вместе... потому что имелось в виду завести специальное музыкальное отделение... Так для кого же они будут играть, как не для танцующих? Он, Грегер, все это заранее предвидел. Часто на трактах и в корчмах приходилось встречаться с парнями и девушками окрестных городов и местечек, и те прямо не нахвалятся своими «билитеями», которых становится все больше и больше, обзаводятся своими «музыкальными» и «драматическими» отделениями.

Грегер не мог остаться безучастным к этому, он не молчал, — и вот он теперь с гордостью идет впереди: он может пожать плоды своей работы.

Парни, идущие вслед за ним, чувствуют себя как-то напряженно, словно туго натянутые струны... с часами в жилетных карманах и с «приглашениями» в бумажниках. А на приглашениях ясно написано имя каждого, как например:

«Файвка, просят тебя пожаловать на субботнее собрание...».

Но Файвка делает недовольную гримасу.

— Чтобы им, этим писакам, — говорит он, — руки отняло! Не могли написать Файвель, а только Файвка— не иначе!

Чувствует как-то Файвка, что здесь не то, что на подводе, что здесь его надо называть по-иному.

Все же гнев его быстро испаряется: он ведь чувствует, что как-никак, а идет в «общество» и что он там состоит «членом»...

И они входят с чувством достоинства и, остановившись, видят за столом Самуила, сына Мейты, Бе-

реля, сына Арона-Лейбы, и Мехеля. Парни переглядываются и перемигиваются:

— Видишь... сто чертей твоей мамаше!..

А там за столиком стоит Берель, сын Арона-Лейбы, и читает по писаному отчет: он вычисляет, сколько членов уже записалось, сколько денег притекло в кассу и сколько денег израсходовано на квартиру, столы, скамейки и книги.

И думает про себя молодой парень в короткой тужурке, держа суконную шляпу в руке:

«Кажется... что такое... Самуил... тот самый, что работает со мной у портного Мойши... А все-таки... посмотреть на него...».

Думает про себя также девушка постарше возрастом:

«Он парень — молодчина! Говорят, он становится женихом старшей дочери портного Мойши...».

Звонок прерывает ее размышления, и Мехель докладывает, что сейчас приступят ко «всеобщим, прямым, тайным и равным выборам...».

Приступают к выборам правления, которое должно заведывать библиотекой в течение всего года. Мехель перед этим раз'ясняет, что «президиум» — т.-е. он, Самуил и Берель — был до сих пор лишь временным, но если собрание пожелает, оно может их избрать и на дальнейший срок...

Присутствующим раздают клочки бумаги, на которых каждый может написать имена тех, кого он желает иметь членами «Правления Всеобщей Библиотеки и Читальни». Кто не умеет писать, может начертать только номер, потому что каждый кандидат имеет «свой особый номер»...

А поближе к столу идет оживленная работа — «предвыборная агитация»: Мехель доказывает, что только Бе-

рель, сын Арона-Лейбы, а не кто-либо другой, годится в секретари Общества; Берель с своей стороны доказывает, что только Мехель, а не кто-либо иной, может быть казначеем; а оба они готовы клясться чем угодно, что сколько ни ищи, а лучшего председателя, чем Самуил, сын Мейты, не найдешь...

Видя такую агитацию, Грегер тоже не молчит: он подбегает к своим знакомым, т.-е. к парням в цветных рубахах с вымытыми загорелыми шеями, и уговаривает их, чтобы они написали его имя, а если они не умеют, то хоть «номер восемнадцать», во что бы то ни стало,— этого уж будет достаточно.

Эта компания держит себя до сих пор довольно степенно и прилично. Файвка, Мендель, Авремче, сын Велвеля, и Муля Белый, правда, немного уж потеют, и лица их раскраснелись, как будто они только что пришли с военной службы... но все же — это еще не беда.

Стоит среди них Ичелэ и агитирует; после каждого его слова им становится еще жарче, и глаза мутнеют. Один только Файвка не теряется:

«Подумаешь, какие свистуны! Настоящие «я тебе дам!». При этом как мигнет глазом сидящей на ближайшей скамейке девушке Теме, так что та, кажется, готова бы все отдать за один его взгляд... А когда она ловит на себе его задорный взгляд, она краснеет, как пейсаховая вишневка...

Берче это так нравится, что он со всего размаха ударяет Файвеля по плечу, как будто они находятся не на собрании, а у себя дома.

Председатель начинает неистово звонить. Он чувствует неловкость перед студентом, который явился сюда в качестве гостя и сидит с президиумом за общим столом. И он старается шопотом раз'яснить ему: пусть он, мол, не думает, что это они — «общество»; они ведь

только так себе... исключительно из опасения... пусть они тоже присутствуют... Но при этом он не рассказывает, что членские взносы уплачивает Мендель, на покупку книг дает Мендель, — и вообще, если касса нуждается, — дефицит, разные дела, то да се, — то опять дает Мендель. А вот эта «интеллигенция», что сидит на почетных местах и занимает все почетные должности, это они — так себе, только из вежливости приглашены... После такого раз'яснения на ухо студент чувствует себе совершенно удовлетворенным, а председатель — победителем!.. Он знал, как поправить дело... При этом он оглядывается назад, на сидящих позади него девушек, — «разве он не заслужил хоть несколько дюжин взоров?».

Стоит себе Мендель, и грустно становится ему на душе: даже хлопнуть кого-нибудь по плечу — и то нельзя!

И он обращается к Файвелю:

— Файвка, идем!

И они передают свои записочки Грегеру. На всех записках красуется цифра «восемнадцать», и головки на цифре восемь во всех без исключения записках расщеплены, напоминая собою крепкие щипцы, которыми извлекают гвозди из копыт...

Они не дожидаются конца выборов: ничего, Грегер уж сам все устроит как следует...

И, подпрыгивая, они спускаются со ступенек, а оттуда — прямо в трактир к Эле...

ГЛАВА XX

Порой тоска нападает на спекулянтов; они идут унылые, с поникшими головами, и на лицах их как будто написано: «на, бей сколько угодно!».

Спекулянтов, которые уж, кажется, привыкли ко всякой погоде — к солнечным и лунным лучам, к тучам, дождям и снегам, — порой как будто пронизывает насквозь нечто такое, что висит, кажется, в воздухе: и это «нечто» ткет незримые тоскливые нити, опутывая затверделые сердца спекулянтов.

Тогда парни, держа вожжи, молча плетутся за подводами, и тихо раздается дребезжащая песня колес в пути.

Старый Шайка сидит в подводе, молчаливый и глухой ко всему окружающему, с закрытыми глазами, и думает все ту же старую думу. Подобно тому как корова жует свою жвачку, он пережевывает в сотый раз одну и ту же мысль — мысль о своих детях:

«Внук все еще болен, а о сыне — ни слуху ни духу; что-то будет? что будет? Как долго я еще буду валандаться?».

Давидка тоже дремлет сидя. Голова его, качаясь, никнет и вдруг остается на чем-то мягком-мягком: это он упал на грудь доброй Сташи, которая всегда помогает ему при переноске товаров или когда надо увернуться от обыска. И странные сны снятся ему в это время, странные виденья проносятся перед ним.

Порою он сам пугается этих видений, тревожно просыпается и начинает с неимоверными усилиями прогонять их от себя — это ему удается с большим трудом. Он должен прежде всего перевести свои мысли на воспоминание о бабушке, умершей три года тому назад, о покойном отце, о боге в небесах. Но в последнее время он никак не может отогнать от себя эти видения! В это время он сознает, что он запутался в сетях греха и что ада для него будет мало. Ибо как это мальчику — тринадцатилетнему мальчику — снятся такие грешные сны? Вот он ощупывает рукой что-то мягкое, нечто

такое, что согревает все его тело и проникает во все жилы, что-то гладкое, и он вдруг чувствует какую-то сладость, необыкновенную сладость... Тогда он прижимается еще сильнее, еще крепче... Ему становится жарко, он клонит голову ниже и прикасается губами к чему-то мягкому, и он горячо целует это место, целует радостно, как он когда-то бывало целовал самые священные вещи... Более того, раньше ничто никогда не возбуждало в нем такого порыва... такого адского пламени... Но не успевает он притти в себя, как опять забывает про все, забывает и снова и снова начинает целовать.

Такие видения, такие переживания проникают в душу Давида в эти тусклые ночи, в эти мрачные ночи, в эти дождливые ночи...

Как-то вначале, когда три девицы только начали ездить с Пантелем, он вдруг проснулся и спросонья вообразил себе, что он находится дома, и ему показалось, будто мать зовет его к себе. Он поднимается и хочет подойти к ней, но наталкивается на сидящих людей и падает. Кругом темно, так темно, что хоть глаз выколи. А на улице бушует буря, дождь льет, как из ведра — настоящий потоп!

Белокурая девица, услышав шум, спрашивает в темноте:

— Кто есть?

И голос Пантеля:

— Спите там, спите!

Он затаил дыхание, словно вор. И хотя было темно, как в могиле, он закрыл глаза, притворяясь спящим.

И был еще один случай, когда он слезал с подводы по приезде в Варшаву. Было уже светло. Он стоял на земле и вынимал свой мешок, лежавший на сиденье. В это время как раз слезала с подводы Нача; и он

увидел ее голую ногу и почувствовал, что сердце у него затрепетало, и сладостная мягкая истома охватила его.

Одна только Райчель сидит, как истукан, опоясанная сырыми, влажными полосами мяса. В мыслях только кусок жирадовского полотна, который она уже приготовила к свадьбе, ее шесть рубах, купленных за полцены у галантерейщицы Мины. И думает она о том, какие бы ботинки купить себе к празднику.

В каретке вместе со всеми едет какой-то почтенный еврей, высокий, прямой, с длинной седой бородою, в «купеческом» пальто и твердой шляпе. Он сидит в компании спекулянтов и во время всего пути не выпускает своего узелка из рук.

«Кто он такой, этот еврей? Неужели он тоже спекулянт?»

Такой вопрос задает себе всякий пассажир. И все чувствуют себя стесненными в его обществе.

Он обычно уплачивает вперед, сколько полагается, и в течение всего пути упорно молчит. Он очень почтенен и важен с виду. Но никто не знает, что дети его — врачи, инженеры — где-то за границей; осталась только дочь с грудным младенцем, муж который мобилизован. И тяжело и трудно живут они уже свыше года—все деньги, бывшие в деле, проели. Все, что было в доме, — посуда, столы, стулья, — продано за бесценок. А что же дальше? От детей нет ни весточки: необходимо как-нибудь устроиться.

«Ничего, все могут, — и ты сумеешь!..»

И он надел твердую шляпу, поехал в базарный день в местечко, закупил немного яиц, масла и повез в Варшаву. Тихо, со спокойным видом, вошел он в лавчонку, продал свой товар и заработанные деньги привез домой...

Спекулянты не знают ведь, кто он, но относятся к нему с каким-то особенным уважением, сами не зная почему.

Порой в лунные ночи старый Шайка начинает рассказывать небылицы о раввинах и колдунах. Все внимательно прислушиваются и, внимая ему, следят за притихшими ночными полями. Глаза блуждают, и серебристые тени плывут в тишине ночи...

И когда старик умолкает, у всех замирает в груди, у всех широко раскрываются сердца, и кажется им, что приди к ним теперь какой-нибудь нуждающийся и попроси он хотя бы четвертной билет, — всякий охотно даст ему.

Но стоит им только приехать в Варшаву, — и все это мгновенно изчезает. Парни и девушки озабоченно начинают рыскать по городу, ища, где бы выгоднее сбыть своих «покойников», как они называют свой товар, и получить взамен «живую» звонкую монету.

ГЛАВА XXI

Когда подводы под'езжают к местечку, все пассажиры расходятся по домам, а в каретке остается лишь Пантель со своими сыновьями и Начей.

В каретках каждый уже имеет свою невесту. Слепой Гройнем, который ездит с Янкелем Чапом, прямо с первого раза взял да и завез свою «невесту» к себе в дом. Жене он велел очистить кровать.

— Довольно тебе нежиться, — промолвил он и положил девку в кровать жены.

Вначале местечко ходуном пошло.

— Добро бы парни,—говорили обыватели,—на то они парни! Но мужья, имеющие жен, имеющие детей, — фе... фе...

Жена Гройнема неистовствовала, металась, кидалась на мужа, бранилась и позорила его, пока однажды он ей сказал:

— Не хочешь, так можешь убираться из дому!

На это она ответила:

— Погибель на тебя! А что будет с детьми?

— Ну, так лежи себе в язвах и молчи!

Говорили, что он часто колотит ее, что вся она в синяках... Люди пытались было вмешаться, но Гройнем как уставился на них своим слепым глазом, и люди отлетели, как пушинки.

«Кому охота связываться с Гройнемом?..»

Брат жены — сапожник — раз как-то даже схватил его за шиворот и воскликнул:

— Жизнь или смерть! Выбросишь ты эту девку из дому?

Но Гройнем мигом за нож — и вот поныне сапожник ходит с перевязанной рукой.

И раз уже наступили такие времена, что даже женатые люди имеют «невест», то холостым и подавно нечего стесняться.

И Пантель набрался решимости и однажды заявил жене:

— Послушай, ты! Чтобы ты не смела мне ни в чем перечить!

Та поступила умнее жены Гройнема: как только девка приехала, Глика сама уступила ей свою постель.

И как только бывало лошади в'езжали во двор, или сквозь ставни доносился шум колес, — Глика быстро подымалась с постели, набрасывала на себя короткую барашковую телогрейку и удалялась в кухню: «чтобы мне не приходилось об'ясняться с девкой!».

И тогда они укладывались спать — Пантель в одну кровать, а Нача в другую.

Порой места себе не находила Глика от горечи, стыда и обиды; вспоминая о своей беременности — уже последние месяцы идут, — она мысленно возвращалась к недавнему прошлому, когда только-только начали заниматься спекуляцией, и трепетала от боли и тоски. И вне себя она бежит к своему отцу и плачет, жалуется на свою горькую долю.

Выслушивает ее старик и вместо утешения сердито кричит на нее:

— Фи, постыдилась бы! Про собственного мужа рассказывать этакие вещи... Чего ты хочешь? Зарабатывает он хорошо? Хлеб тебе дает? В картофеле тоже не нуждаешься? Чего же тебе еще? Немало жен хотели бы быть на твоем месте, иметь мужей, которые столько зарабатывают!

Она цепенеет, выкатив заплаканные телячьи глаза. Тогда старик приподнимается, глядит на нее в упор и смеется:

— Хи-хи-хи... Лучше бы тебе совсем не говорить об этом!.. Подумай только — кто будет править обряд обрезания? а?..

Она рыдает навзрыд — и старик тронут ее слезами. Он берет свою сучковатую палку и, согнувшись в три погибели, он — старый Давидка, тесть Пантеля — отправляется к своему зятю переговорить с ним.

В кухне он присаживается к столу и оглядывается по сторонам:

— О-го! Добра-то сколько, чтоб не сглазить!

Но, когда Глика тянет его за рукав, он, наконец, встает, подходит к двери, тихо открывает ее и входит во вторую комнату.

Что он там увидал, этого никто не знает: он никому об этом не рассказывал. Он только стремительно кинулся обратно в кухню, и, захлопнув за собой дверь,

остановился возле дочери, как бы желая телом своим заслонить дорогу.

Дочь стала его расспрашивать, в чем дело, но он ничего не ответил. Он только приложил палец ко рту.

— Тс... с...

Через несколько минут он поправил свою шляпу и ушел, все еще держа палец у рта. Только очутившись на улице, он пробормотал про себя:

— О-ва, ва! На что человек способен!.. У-ва, а! У собственной жены в доме... ва-ва!..

Но Глика скоро свыклась со своим новым положением. Часто, когда ей нужны деньги, а Пантеля в это время дома нет, она подходит к девке и берет у нее, сколько нужно. А когда порой отбирают товар по дороге, она у Начи и расспрашивает подробно, как это произошло, сколько у кого отобрали. Девка очень распространенно рассказывает обо всем, и Глика внимает ей, покачивая головой:

— Да, да.

Предвечерние сумерки. Девицы сидят уже в доме, готовые в путь. На дворе еще светло, но в комнате уже горит лампочка. По полу расстилаются тени от людей и узлов. Парни и девки располагаются на полу, и громкое хихиканье несется оттуда.

Входит Пантель и об'являет, что лошади уже запряжены и что уже сиденья готовы. Начинается выноска вещей. В это время в комнату вваливаются, обнявшись, Файвка и Юрек мертвецки пьяные, затягивают какую-то странную песню, приколачивая каблуками.

Позади них товарищи с Ичелэ во главе. Файвка и Ичелэ запевалы, остальные подхватывают припев.

Мендель со двора слышит это пение и не может удержаться: он бросает подводу, бежит в комнату,

хлопает своих товарищей по плечу и заставляет их вместе с ним еще раз пропеть эту песню — смесь польских и еврейско-немецких слов:

З местечка Вежджамы
На возу шмукель накладамы.
Ой-чи-друпчу-чипчу,
Чи-дрипчу-чипчу-гоп!

Еджем, еджем в страху,
А на шоссе стои ваху...
Ой-чи-дрипчу-чипчу,
Чи-дрипчу-чипчу-гоп!

В Варшаве достаемы пенёнзки
И чимамы их на ронч ки.
Ой-чи-дрипчу чипчу,
Чи-дрипчу-чипчу гоп!

А назад еджем весёло,
И шпивами се в коло...
Ой-чи-дрипчу-чипчу,
Чи-дрипчу-чипчу гоп *!

Вдохновляемые этой песней, спекулянты идут к выходу. Файвка и Юрек в роли запевал с одной стороны, а хор — с другой. Смеясь и присвистывая при шумном одобрении всех спекулянтов, толкаясь и падая на женщин и девок, они поют все громче и громче.

Эту песню они сами сочинили — Файвка с Юреком.

---

* Из местечка Вежджамы.
На воз контрабанду нагружаем.
Ой-чи-дрипчу-чипчу и т. д.
Едем, едем в страхе,
А на шоссе стоит караул.
В Варшаве деньги получаем
И берем их к себе в руки.
А назад едем весело
И поем все вместе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Четыре молодых кобылы топтали траву своими еще ни разу не подкованными стройными ногами и раздувшимися ноздрями радостно пили ароматный воздух. На их гордых блестящих шеях красовались только уздечки, а гладкие, упругие туловища, еще не знакомые с хомутами или седлами, блестели на солнце молодостью и здоровьем.

Мужики привязали лошадей к толстым деревьям и беседовали меж собой:

— Пантель еще не пшишед (не пришел), — говорит старый мужик с волосами цвета льна и с меховой шапкой на голове (хотя дело было летом).

— Он певно зараз надейдзе (он, наверное, сейчас придет), — отвечает молодой паренек, с волосами того же цвета, как у старика, — повидимому, это его внук. И действительно, издали они увидели Пантеля и направились ему навстречу.

Пантель крепко пожал им руки и подошел к лошадям. Молодые, блестящие, они стояли с опущенными хвостами и головами. Озлобленные тем, что их привязали к дереву, они вскапывали землю, и под каждой кобылицей виднелись четыре ямки в земле.

Пантель с наслаждением осматривал лошадей — такие у них круглые крепкие «бока» и такие гладкие

животы. Крепкие, здоровые длинные ноги, крутые шеи с подстриженными гривами. Он открыл, заглянул им в зубы и обратился к мужикам:

— Хорошие лошадки у вас! По восемьсот рублей стоят, право слово.

— И за тысячу не отдадим, — отвечает старик. Он вынимает листок тонкой курительной бумаги, отрывает четырехугольный клочок, лезет за табаком, и, скрутив папиросу, закуривает.

— А где же он? — нетерпеливо спрашивает молодой.

Старик озирается и отвечает:

— А вон там он едет, — и, прищурив глаза, всматривается в даль, желая еще издали определить, что это за жеребец.

Мендель, верхом на жеребце, хлещет его, и жеребец бежит, оставляя позади себя столбы пыли.

По узкой тропинке у самого поля бежит Урка, нагибается на-лету, хватает камешки и швыряет в лошадь.

— Погоди, негодник! Вот приеду только домой,—так я тебя на месте уложу!.. — кричит с лошади Мендель.

Под'ехав к месту назначения, он соскакивает с лошади, треплет ее по шее, и жеребец, встряхиваясь, откидывается назад, словно он только что вышел из воды. Затем он подымает голову, озирается и замечает кобылиц. Широко раскрыв ноздри, он начинает ржать, и глаза его наливаются кровью. Мендель крепко держит его за уздечку, и когда тот вырывается, он бежит за ним и тащит его назад. Так они оба стоят неспокойно, и Менделю то и дело приходится гнаться за жеребцом по лугу.

Крестьяне внимательно разглядывают жеребца и приговаривают:

— Он — добрый конь.

Пантель торгуется с ними. Они упорны, но и Пантель не уступает. Он кричит, уговаривает, указывая на коня:

— Поглядите-ка на него — это же лев!

Так торгуется Пантель с крестьянами. А кобылицы, завидя жеребца, рвутся, дико мечутся, стараясь оторваться от привязи. Одной кобылице это удается, она бросается вскачь по лугу. Завидя это, жеребец порывисто вздымается, становится на дыбы, так что Мендель опрокидывается, теряет повода, падает на траву. Почуяв свободу, жеребец галопом пускается по лугу вслед за взбесившейся кобылой.

Пантель с крестьянами бегут за ними во все стороны, стараясь руками загородить им путь к шоссе. Старик поддерживает руками свои бока, как бы опасаясь, что они у него рассыплются. Он мотает головой, пыхтит и второпях теряет папиросу. Он нагибается, чтобы поднять ее, и ворчит:

— Ну и лошадь — пся крев (собачья кровь)!

Но кобыла бежит, куда глаза глядят. Заслышав ржание позади себя, она оглядывается и вся трепещет при виде жеребца, из ноздрей которого так и пышет пар. Порывистым движением она берет в сторону, но здесь цепь человеческих рук заслоняет ей дорогу. Чуть не распластавшись по земле, она пружинит все тело для скачка, но тут жеребец нагоняет ее, кусает за хвост и толкает на землю. Когда она от этого толчка опускается на задние ноги, он становится на дыбы и обхватывает ее передними ногами, и дико ржет, как от укуса бешеной собаки.

Она изо всех сил старается вырваться, брыкается, приподнимается, стараясь сбросить давящую на нее массу, но кости ее трещат. Вдруг она чувствует ка-

кое-то бессилие и такую усталость, как будто только что пробежала верст тридцать под-ряд без передышки. Она трясется всем телом, опускает голову, и глаза ее мутнеют. Теперь она стоит уже тихо и недвижно, полная покорности, как бы признавая себя совершенно и окончательной побежденной.

Урка сбоку наблюдает — и сладостно ему, словно тает во рту кусок сахару; от радости он краснеет. Стоя на четвереньках в траве, щиплет травку за травкой и все ближе подползает к лошадям. Он то наклоняется, то садится, и глаза его так же наливаются кровью, как у отцовской лошади, то сюда, то туда заглядывая. Но вдруг жеребец, почуяв кого-то вблизи от себя, отбрасывает его задним копытом, так что Урка взлетает в воздух. Перекувыркнувшись несколько раз, Урка падает и потом усаживается на траве. Он начинает ощупывать себя и озираться кругом, но, заметив внезапно отца, снявшего уже ремень с своих брюк и быстро направляющегося к нему, он руками отталкивается от земли, порывисто срывается с места и с отчаянным криком и воем бежит обратно в город.

По городским закоулкам он бежит все с той же быстротой, но уже без всякого страха. На-лету он задирает ребятишек, те плачут, а Урка как ни в чем не бывало бежит дальше, оставляя позади себя вопли и крики. Он подпрыгивает, почти ржет, как отцовский жеребец, и рот его ширится от радостного смеха.

Придя домой и завидев Начу, которая, сидя на пороге, обвевает лицо платком от невыносимой жары, он запускает руку прямо к ней за пазуху, щиплет ее и не чувствует, как она осыпает его пощечинами и изо всех сил дерет за ухо.

ГЛАВА II

— Он ведь чуть-чуть не расколошматил его до смерти, — ворчит Пантель, возвращаясь с поля. — Куда он запропастился, а?

— Кто? Кого? — вскрикивает Глика, подымает руки к лицу и начинает дергать себя за щеки.

— Да его, нашего байстрюка! этого щенка!

— Что ты, что ты? Он ведь только что здесь был, схватил кусок хлеба...

— Он был здесь? Ну, я ж ему все кости переломаю! Урка! — зарычал он вдруг, завидев мальчика через окно. Тот, весь дрожа от страха, подходит к открытой двери, безмолвно пролезает в комнату и останавливается перед отцом.

Начинаются избиение и дикие крики. Все девки, стоявшие за дверьми, бросаются в комнату, стараются оторвать отца от сына, но немало случайных пинков перепадает им.

У Урки кровь уже хлынула из носа. А Пантель при виде крови свирепеет еще больше, словно дикий бык при виде красной материи.

Глика изо всех сил старается вырвать мальчика из рук мужа; она ругается, бросается между мужем и мальчиком и вдруг получает такой нечаянный удар по животу, что она на минуту застывает на месте, как человек, внезапно лишившийся сознания. Ноги у нее подкашиваются, она вздрагивает и вдруг валится на пол всею тяжестью своего тела.

Она сейчас же привстает, садится и вдруг испускает такой вопль, что все домашние и все соседи бросаются к ней.

Пантель в это время перестает колотить мальчика.

Глике расстегнули платье и подняли рубаху: густой

пар шел от ее тела. Она кричала, держа руки на вздувшемся, как подушка, голом животе.

К ней привели фельдшера, уложили в постель и послали за доктором.

Когда Мендель, придя домой, узнал, что здесь случилось, он, как червь, стал безмолвно точить отца, бросая на него полные ненависти взоры.

Отец глухо сказал:

— Что ты стоишь, как корова? Чего тебе надо?

— Что я стою? А что это ты сделал? а?

Но тут раздались отчаянные крики из той комнаты, где лежала Глика. Мендель, по существу человек мягкий и сострадательный, бросился к двери. Но вдруг остановился, вернулся обратно и снова стал вертеться перед отцом.

— Ступай вон из дому! Слышишь? — кричит Пантель, и глаза его становятся зелено-мутными.

— Слышишь, — начинает также Мендель, но останавливается, не зная, что сказать дальше.

Приходит доктор. Он приказывает приготовить миску с водой, кусок мыла и полотенце. Затем он приказывает всем выйти из комнаты, где лежит больная, и входит к больной вместе с Годель, соседкой Глики, которая держит в руках миску с водой и остальные принадлежности.

Отец с сыном стали друг против друга, как два петуха. Видно было, как Пантель еле сдерживает себя, чтобы не броситься на Менделя. Но овладеть собою вполне он никак не может и со скрежетом зубовным цедит:

— Хо-ле-ра те-бе в кос-ти!

Мендель все еще стоит перед отцом, как пьявка, готовая в'есться в его тело, и одновременно прислушивается к воплям, раздающимся в соседней комнате.

При всяком более громком вопле он не может удержаться, чтобы не крикнуть отцу:

— Слышишь... чорт бы побрал твоего отца!

Когда доктор после осмотра больной умывал руки, он строго-настрого приказал, чтобы никто не разговаривал с больной, потому что положение ее опасное. Пантель заплатил за визит, а Годель, выпроводившая доктора до самых дверей, возвратившись, сообщила, что у Глики тяжелые преждевременные роды и что бог знает...

Тогда Мендель, как сорвавшаяся с цепи собака, замахнулся на отца кулаком. Но душу раздирающий вопль больной удержал его. Он опустил занесенный кулак, задрожал всем телом, бросился на скамью и, всхлипывая, расплакался.

Глика ощущала мучительные, невероятные боли. Ей казалось, что в чреве ее поселился кузнец и работает там молотом и щипцами. Тогда Пантель подошел к двери, ведущей в сени, открыл ее и, выходя на улицу, громко хлопнул дверью.

Он направился к конюшне, но сейчас же возле сточной канавы остановился. Передергиваясь, холодея, душимый спазмами, он, уставив глаза в землю, смотрел, как ползут по ней божьи коровки, и думал о том, что дурно он поступил, очень дурно.

«Что я имел против нее? С чего я привязался к ней?»

А по травке между двумя камнями прогуливаются божьи коровки... Пантель глядит на них и не замечает стоящей возле него сторожихи и не слышит, как она говорит ему.

Она еще раз повторяет:

— Пантель, что сталось с твоей женой?

Тогда только, как бы очнувшись, он поднимает глаза, и сторожиха видит в них слезы.

Она опирается лицом на ручку своей длинной метлы и думает про себя:

«У них — муж, так это — муж!».

И вспоминается ей, как неоднократно колотил ее пьяница-муж, а она не смела даже проронить слезу — иначе он уложил бы ее на месте... И стоит она, трясет своим подбородком, и ей становится жалко самое себя. Это продолжается с минуту, затем она снова начинает подметать двор.

Пантель снова погружается в свои мысли, собственно даже не мысли, а нечто такое, чего он сам ясно не сознает... какие-то опадающие листья осенние. Снова и снова тот же вопрос:

«Что я имел против нее? С чего я привязался к ней?».

Эти слова упорно и неотвязно преследуют его.

«Ах, провалиться бы мне сквозь землю!»

И стоя в раздумье, он вдруг видит на соседнем дворе реб Вову; реб Вова машет руками, подзывая его к себе:

— Пантель, тебя-то мне и надо! Поди-ка сюда!

Пантель идет в соседний двор и приближается к реб Вове, не глядя ему в лицо. Ему только бросается в глаза, словно он это видит в первый раз, красивый халат реб Вовы и его палка с серебряным набалдашником.

Тот сейчас же переходит к делу:

— Пантель, — говорит он, — не поедешь ли к узкоколейке за вагоном соли? Дубликат уж у меня в руках.

Пантель думает про себя:

«Завтра пятница. Все равно уж до субботы никаких поездок не будет». — И он отвечает:

— Ладно, поеду.

Тот сейчас же передает ему дубликат и уходит степенно и важно.

Стоит Пантель, держа дубликат в руке, глядит вслед реб Вове и, сам не зная почему, начинает питать такую злобу к этому благообразному еврею: кажется, на части разорвал бы его, если б мог... «Он — он, наверное, жену свою не бьет, прямо по животу».

Терзается Пантель — и кривится его лицо при виде важной походки реб Вовы:

«Что в самом деле! Он — почтенный еврей, правда. Ну так что ж? Разве он дочь свою не посылает к коменданту? Я сам видел ее у него... А Пантель — кто он такой, в конце концов? Мужик, хам, низкий человек, развратник!.. И чтоб вас всех уж холера пожрала!»

Он комкает дубликат, сворачивает его, и вдруг ноздри его приходят в движение, то раздуваясь, то сжимаясь, словно живот во время дыхания:

«А что, если в дороге «отработать» его хорошенько? гм...».

Он потирает себе лоб и собирается уже зайти к Королю переговорить с ним об этом. Но по дороге он вспоминает, что теперь уж не то доброе старое время, когда здесь были русские... Теперь приходится немало потеть из-за всякой ничтожнейшей мелочи.

И он решает про себя:

«Нет, не надо! Теперь не то, что когда-то».

ГЛАВА III

Нача собиралась к своей тетке. Теперь, после такого случая, она ведь не может оставаться ночевать у Пантеля в доме. Пантель, правда, сначала было полагал, что это не беда... Но потом, поразмыслив, пришел к заключению, что это невозможно: чтоб она спала

вместе с его женой в одной кровати — об этом не могло быть и речи. Ну, а с ним? Тут же — напротив жены?.. как это?..

И Нача перебралась к своей тетке, которая вместе со Сташей нашла приют у Шмуэля-Горбуна. Это был сапожник из третьестепенных, у которого в доме всегда находилось местечко для проститутки и для всякой проезжей девки.

Пантелю, правда, было не по себе: так уже он привык к ней... Да и помимо того она уже знала все его дела лучше, чем он сам. Она знала все села и деревушки в окрестностях местечка, знала многих окрестных баб; а многие парни, оставшиеся главными хозяевами в фольварках ввиду мобилизации их отцов на войну, продавали ей рожь и муку гораздо дешевле, чем кому-либо иному...

Но Нача, несмотря на это, все же отправилась к Шмуэлю-Горбуну, и там она вдруг снова почувствовала себя такой же, как там, в Варшаве.

— Ах, Иезус! — воскликнула она, входя в полутемный подвал.

Из-за одеяла, которым был занавешен один из уголков подвала, она услышала голос своей тетки, затем голоса Сташи, Юрека и других. Она подошла тихонько, на цыпочках, приподняла немного край одеяла и увидала, как ее «колежанки» и «коллеги», сидя или лежа на черных кроватях, пьют водку, курят и целуются.

Этот маленький отгороженный уголок был в свою очередь разделен на крохотные уголочки, и в каждом из них жужжало, как в улье.

На доске на самом полу сидела Матеха; Файвка щекотал ее подмышками, а она почесывала себе ногу...

Ичелэ, бывший завсегдатаем этих мест, стоял, склонившись над Сташей, и с форсом прикуривал от ее папиросы.

А в самом крошечном углу сидел он, хозяин подвала, сам Шмуэль-Горбун, то-и-дело щипал девиц и хихикал.

Нача стояла молча и с внезапно проснувшейся страстностью впитывала в себя спертый воздух подвала, который был еще более удушливым от дешевых стефкиных духов. Все это теперь казалось Наче чем-то свежим, необычайно-приятным и новым, хотя в то же время родным, давно знакомым... Даже голова Шмуэля — типичная голова Горбуна, настолько типичная, что если бы даже всего его заслонить чем-нибудь, то по одной этой голове, особенно по заостренным глазам и изнеженному подбородку, можно было бы догадаться, что он — горбун, — даже эта голова показалась ей теперь милой. Раскрасневшаяся, взбудораженная, она почувствовала, какой крепкой, неразрывной цепью она прикована к этому углу. И как будто кто-то сзади толкнул ее, — она отвела перегородку-одеяло и воскликнула:

— Стефча! Сташек!

И за перегородкой шлепнулась на черную кровать, ножки кинув на стол.

Ее встретили криком, шумом, воем — бесновались, как дикие звери. Обнимались, целовались, рвались друг к другу. У всех блузки расстегнуты, юбки еле держатся, ботинки не зашнурованы...

Наче вдруг страстно хочется курить. Она выхватывает у Ичелэ прямо изо рта папиросу, соблазнительно склоняя к нему головку, и, сделав две-три затяжки, бросает папиросу на пол. Затем поднимается на ноги, берет бутылку, встряхивает ее и с недоволь-

ной миной переворачивает горлышком вниз прямо к себе в рот.

Шмуэль-Горбун глядит и не налюбуется ею.

— Вот девка, так девка!

Он изучает ее всесторонне: и как она сидит, и как курит, и как пьет, и он клянется всем, что есть святого на свете!

— Чтоб мои дети были так здоровы, что с ней я бы стал молодцом!

Он видит, как она все ниже и ниже клонит бутылку, и ни одна капля не попадает на землю. Тогда он берет пустую чарку, выползает из-за угла и скоро возвращается с полной чаркой водки.

— На вот тебе, девка, пей! — говорит он повелевающе.

Всем это чертовски нравится. И насмешливо перешептываются в углу:

«Горбус ше закохал...» *

Они берут его в охапку и тащат к Наче. Она, сверкнув глазами, хохочет и обнимает его. Он бледнеет и торопится задернуть заднюю занавеску.

Все их окружают, а Файвка прижимает их друг к другу точно так, как несколько месяцев тому назад Гройнем-Слепой прижимал его к Райче...

Шмуэль-Горбун чувствует ее полное тело, в глазах пробегает мстительный огонек. Ах, как бы ему хотелось теперь отомстить за годы насмешек и издевательств над ним!.. Отомстить за то, что все передразнивают его, что все его ненавидят, что даже дети убегают при виде его, — и все из-за его уродства, в котором он ведь не виноват...

И он обнимает Начу своими костлявыми пальцами и вместе с ней бросается на кровать...

* Горбун влюбился.

Неистовый, бешеный хохот изрыгают девицы — хохочут до слез, до исступления...

Но у Юрека лицо пылает от гнева. Он вскакивает, тащит Шмуэля с кровати, толкает его обратно в угол и кричит:

— Ты, Горбун проклятый! Собачья кровь!..

И снова оглушительный хохот гремит над низким потолком, когда Горбун уползает в угол и скрывается там, словно червь. А Нача устало засыпает после целых суток бодрствования, засыпает от водки, от удушливого запаха подвала.

ГЛАВА IV

Мендель прохаживался по кухне, и руки его хрустели при всяком повороте. Он чувствовал усталость во всех членах, и ему вдруг захотелось пробежаться или совсем броситься на кого-нибудь с кулаками.

Он шагал из угла в угол тихо, медленно, стараясь не стучать каблуками. Затем он сел на кушетку, оглянулся кругом на стены, приподнялся, снова прошелся по комнате и опять сел. Он вспомнил эти ночные поездки, когда вдруг раздается из тьмы властное: «стой, ни с места!». Но неотступнее всего перед ним встают образы отца и Начи.

Вот приближается стража.

— Видишь? — спрашивает Пантель девку.

— Вижу... — отвечает она.

— Поняла?

— Конечно!..

И она, подмигивая своими голубыми глазами, соскакивает с повозки и, подпрыгивая и приплясывая, идет навстречу страже...

Вспоминая это, Мендель кусает губы и со всего размаху бьет ногой о пол и стуком пугает больную: она кричит. Тогда он вбегает в комнату с единственным желанием отомстить отцу, проучить его хорошенько, показать, на что он, Мендель, способен. И он придумывает:

«Вот, например, если бы заехать ему в зубы да так, чтобы вся морда распухла...»

«А может быть, не поехать совсем в Варшаву, и пускай он себе там бесится один...»

«Или не привести ли к нему немца посреди дороги?»

Но он никак не может решить, как отомстить получше. Он выходит из дому и у дверей сталкивается лицом к лицу с Юреком.

— А что, до «шабаса» уж не поедем?

— Где уж там? Мать больна.

— О, о, — смеется парень, значит, теперь уж Нача не будет ночевать у Горбуна?

Внезапная мысль, как молния, озаряет Менделя — и он цепенеет.

— Да, да, — бормочет он, — да, да.

Отвернувшись от Юрека, он окольными путями пробирался в узкий переулок, где живет Шмуэль-Горбун.

Когда Пантель вернулся домой, Менделя там уже не было. Урка лежал на мешке и храпел, кряхтя во сне. В соседней комнате было тихо. Он подошел к двери, заглянул в щель и увидал возле кровати своего тестя; тесть сидел, опираясь на свою сучковатую палку: дремал ли он или просто сидел задумчиво — этого Пантель не мог определить.

Глика лежала с открытыми глазами, стиснув зубы. Щеки ее обвисли, нос заострился, а из-под платка, надвинутого до бровей, двумя черными дырами глядели глаза.

«Она, должно быть, не на шутку заболела», — подумал Пантель.

Он подался назад, затем тихо и грузно опустился на кушетку.

«Что это я наделал?что это я наделал?»—Он уронил голову.

«У нее тяжелые преждевременные роды», — вспоминает он слова Годли после ухода доктора.

«Кто знает — а вдруг была бы девочка!»

Он давно уже мечтал о дочке. Уж он бы воспитал ее по-хорошему и недурное приданое заготовил бы!

Поднявшись, он снова подходит к двери, глядит сквозь щелку и теперь только замечает, как высоко поднимается одеяло над ее животом.

«К чему ей нужен теперь такой живот? Лучше бы она его не имела. Разве я имею что-нибудь против нее? И чего ей недостает у меня? Разве ей чего-нибудь не хватает?»

Заслышав стон за дверью, он скрежещет зубами: «Разбойник! Чего ты хочешь от нее?».

Он готов теперь упасть ниц перед первым встречным, биться головой о пол, о стенку, о камни мостовой.

Он водит глазами по комнате — никого нет, никого, никого! Пантель вдруг начинает чувствовать себя одиноким, как камень в пустыне, словно путник в темную ночь на заброшенной дороге... Ему ведь порой не с кем слова вымолвить... С кем — в самом деле? Со своим чахоточным тестем что ли?

И он вспоминает Начу. Он мысленно начинает сравнивать ее с Гликой. «Эх, эх», — ощущает вдруг Пантель невыразимую тоску, и сердце его ноет, как порой в пути, когда отбирают контрабанду.

Он тихо и медленно барабанит рукой по столу. Но мало-по-малу, он начинает стучать все громче и быстрее.

Выходит тесть, кряхтит, как заржавевшая дверь и обращается к Пантелю:

— От, ой, ой! Перестал бы стучать! Ведь она не может улежать на месте!

Пантель перестает барабанить, но зверем глядит на тестя, словно тот виной всему.

Но старик продолжает:

— Надо было бы, чтобы кто-нибудь сидел возле нее, ухаживал.

Тут Пантель теряет спокойствие и кричит:

— Кого мне к ней посадить? Нашего раввина?!

Но сейчас же он раскаивается, — и как только он мог позволить себе такие слова? Он вынимает сотню и подает тестю.

— На вот, тесть, — говорит он, — вот тебе деньги. Покупай и делай все, что нужно. Может, пригласишь Годль?

Старик берет сотню и оглядывает ее со всех сторон. «Сотня!» И, уже стоя у дверей, он укоризненно произносит:

— Видишь, что ты наделал? а? хорошо так?

Пантель чувствует себя пришибленным.

И снова: «Что, в самом деле, я имел против нее?». Он сжимает руку в кулак и начинает колотить себя в грудь:

«Грешный, грешный я человек!».

И в порыве раскаяния им вдруг овладевает страстное желание все в доме перебить, сокрушить, разорвать на клочки, чтобы все разлетелось вдребезги.

Он мечется по комнате, как пленник в клетке. И лишь только на пороге смежной комнаты показы-

ваются его тесть и Годль, он с такой стремительностью проносится мимо них, что они чуть не падают.

— Он рехнулся — не иначе!..

Со двора он бежит прямо в сад к Ицхоку-Йойне. Там он принимается за выпивку и залпом опорожняет целую сороковку. Затем он садится возле котла, и его обдает сильным жаром. Это приводит его в повышенное настроение. Он подзывает к себе Ляльку и шепчет ему на ухо:

— Поглядел бы ты на живот!.. Как вязанка сена!.. Чтоб ему холера!..

От этого сравнения у самого щекотно подмышками, и он густо и грубо хохочет. Потом он вдруг ловит за ногу Брайну, когда та нагибается с дровами к печке.

Она ругается. Но Пантель уже горит огнем вожделения, точно раскаленным железом тронули его... Он бежит во двор, на свежий воздух, но чувствует себя там еще хуже.

Только в подвале Шмуэля-Горбуна Пантелю стало легче: прохлада, та особенная прохлада, которая свойственна всем подвальным помещениям в летнюю пору, освежила его.

Он стоит с минуту, всматривается, но ничего не видит перед собой и уже собирается уходить, как вдруг слышит голос Шмуэля:

— Кто там?

Он подходит к отгороженному углу, отдернув одеяло-перегородку, прищуривается, но понемногу свыкается с темнотой и как раз перед собой видит черную кровать.

Пантель потрясен — и снова раскаленное железо жжет его. Он начинает ржать, как пойманный жеребец, и, словно молотом, бьет кулаком Менделя по лицу, заливая кровью щеки, рот, скулы.

Но Шмуэль-Горбун уже тут, возле Менделя, и, изловчившись, пытается оттащить его, а Нача, проснувшись, кричит беспокойно:

— Пантель, что случилось?

А тем временем Мендель, придя в себя, кидается на отца. Тот, отступая, спотыкается о стул и падает лицом в кучу мусора.

Вой и крик несутся во двор — люди сбегаются, и вскоре во дворе черным-черно от народу.

Люди бегут в подвал, кое-кто зажигает спичку — и видят люди: на полу, сцепившись, дерутся отец с сыном, дубасят друг друга, а возле них полуголая девка.

Кое-кто хихикал, но были и такие, что с возмущением отвернулись и вышли.

Подоспели оба милиционера: Юкель и Малиновский. Прежде всего они своими шпицрутенами разогнали толпу, затем вошли в подвал. Там они остановились и громко расхохотались.

— Фи, — сказал Малиновский. — Какой стыд! Отец с сыном!

Оба милиционера набрасываются на буянов и разнимают их. Но Пантель, рассвирепев от водки и дикой злобы, вырывается из их рук и размахивает кулаками.

— Что, хочешь прогуляться в магистрат? — спрашивает его Юкель.

Этих слов было достаточно для того, чтобы он сразу протрезвел.

Он озирается по-иному, видит, сколько народу позади милиции.

Во дворе снова толпа любопытных — поглазеть, как будут вести «сватов» по улице, и по дороге люди передают друг другу, что произошло в подвале.

— Теперь уж видишь, на что молодцы способны? Вот так сцепились — отец с сыном!..

— Чего тут удивляться? На то извозчики... низкие люди, бездельники!

— От хорошей жизни, — замечает третий, — чего им разве не хватает — этим спекулянтам?

— Каждый день мясо, — вставляет тощая Неха, высокая еврейка, которая не видела уж мяса с начала войны, кроме тех жалких кусков, что выдавали в комитете для беженцев.

— И белый хлеб...

— И по субботам — «хала» (белая булка).

— Разбогатели.

Убедившись, что придется слишком долго ждать, многие разошлись, но наиболее терпеливые остались, уселись на бревнах.

Один из толпы — острослов — сказал:

— Удивительно, почему это еще нет Грегера.

ГЛАВА V

Ни в эту ни в следующую ночь Мендель не возвращался домой: ночевал он и ел у Файвки, решил было даже ехать уже вместе с ним в каретке Копеля.

В субботу утром вся молодежь собирается вместе и отправляется в синагогу молиться. Там Мендель замечает отца, стоящего возле печки, и вместе со своими товарищами удаляется в другую сторону; там они усаживаются вокруг «бедного стола» *, некоторые вынимают свои молитвенники, и по два, по три парня заглядывают в один и тот же молитвенник.

---

* В еврейских синагогах места оплачиваются; чем ближе к амвону, тем дороже. Для бедняков обыкновенно отводятся самые задние места—бесплатно; эти места и называются «бедным столом».

Прим. перев.

Когда Пантель шел в синагогу, он еще по пути заметил, как ребятишки указывают на него пальцами и смеются ему прямо в глаза, — подбитые, в синяках глаза. В синагоге до начала молитвы он заметил то же самое: «простые» евреи стояли возле своих мест и рассказывали реб Юделю и реб Вове о драке Пантеля с сыном. Как только Пантель появился, «простые» евреи сразу смолкли, но почтенные, носившие титул «реб» (господин) — те, наоборот, повернулись даже лицом к Пантелю, и реб Вова молвил своему соседу вслух:

— Представь себе, Юдель; даю ему в четверг дубликат на вагон соли, и что же ты думаешь? — поехал он?

— Вот видишь, какой теперь свет настал, — отвечает Юдель-самогонщик.

— Да, свет распустился совсем, это правда; но такая история! Прямо неслыханная!.. Отец с сыном!..

Пантель совсем упал духом и как стоял возле печки, так и остался там, как пришибленный, отвернувшись от беседующих.

— Знаешь, Вова, — отзывается Юдель, — его бы следовало оштрафовать за такой возмутительный поступок.

— Чего ему не хватает?—отвечает реб Вова.—Да, забыл — разве что марок ему не хватает?

Между тем входят в синагогу еще евреи, останавливаются возле тех же скамей и говорят все о том же происшествии. Никто не обращает внимания на то, что он — Пантель — здесь же и слышит все это. Наоборот, наиболее благочестивые евреи в атласных кафтанах говорят еще громче других и в это время глядят на него в упор... А некоторые как бы ненароком проходят

как раз мимо него и впиваются в лицо... Пускай, мол, задыхается от стыда! Чтоб у него кровь застоялась!..

Слышит Пантель все эти разговоры и чувствует, что, разверзнись теперь перед ним земля, он бы с удовольствием провалился...

Но мало-по-малу к нему возвращается его прежнее самообладание: постепенно он отступает от стены и уже не прячется от этих благообразных, «почтенных» евреев... И полон он едкой, непоборимой вражды.

«Вот этого в ермолке — холера на него! — разве его не поймали когда-то, когда он был еще холостым, в сарае с девкой?!»

«А у Занвиля-мануфактурщика разве не нашли еще до войны целый склад товару, украденного прямо с фабрики!.. Но ничего... на то они «почтенные евреи... чтоб их всех передушила венская холера!..»

«Не беда, не беда... он сам, Пантель, правда, тоже не святой: когда попадал под руку какой-нибудь товарец или лошадь, то... Но он ведь и не корчит из себя праведника!.. А они...»

Больше всего кипит в нем злоба против реб Юделя и реб Вовы,—они судачат больше, чем все остальные... И кажется Пантелю, что нет большего счастья, как ринуться на этих двух евреев, повыдернуть им бороды почтенные и отхлестать по щекам.

Но вдруг все его предположения обрываются: Ицхок-Иойна накинул «талэс» * и, подойдя к амвону, громко стал читать утреннюю молитву.

Евреи расходятся по своим местам и, покачиваясь, напевно читают вслух.

---

* Молитвенное облачение.

Пантель, растерявшись, уткнулся в молитвенник, зашевелил губами, будто молясь, но все его помыслы были там — у передних скамей.

Молитва шла своим чередом. Копель и Янкель, которые летом обычно молились в боковой комнате возле входных дверей, подошли к Пантелю и стали возле него. Талэсы так и колыхались на всех троих. Но Копель вел разговор о ржи, которая так вздорожала, и сообщил, что он собирается выехать с вечерней зарей, как только звезды покажутся на небе.

Мендель и его товарищи, сидевшие за «бедным столом», в этот день очень мало разговаривали. Мендель кипел, прислушиваясь к разговорам об его драке, но сидел тихо и молчаливо, только скрежетал зубами.

Некоторые молодые люди подходят, останавливаются у стола и, опираясь на него руками, усердно покачиваются. Но они не произносят ни одного слова молитвы: ведь так любопытно взглянуть поближе, — собственного отца побил, шутка ли?..

Более набожные парни тоже вытягивают головы в сторону отца и сына, и при взгляде на них обоих глаза их разгораются, и в них зажигается похотливый огонек... И они стараются как можно яснее, как можно отчетливее воспроизвести в своей памяти ту картину, которая разыгралась в подвале Шмуэля-Горбуна... Некоторым из этих парней с бледными лицами и синими кругами под беспокойными глазами очень хотелось бы узнать: кто это девка... не та ли голубоглазая девчонка с белокурой гривкой!.. И при одной мысли об этой девчонке текут у них слюнки, и они начинают молитвенно покачиваться еще с бо́льшим остервенением, каждый раз стукаясь лбом о парту, стоящую перед ними.

Во время перерыва, когда приступили к чтению торы *, вокруг тех же парт снова стали собираться группами евреи и говорили все о том же — об истории с Пантелем. Некоторые ревнители веры усмотрели в этом оскорбление божьего достоинства. Они подошли к старому Давидке:

— Ну? что? И не стыдно тебе, хамское отродье? Как ты допускаешь такое безобразие?

А один иронически прибавляет:

— Каков тесть, таков и зять.

Слышит это Пантель, и им овладевает страстное желание содрать кожу с себя и с других. Он подается всем корпусом вперед, как боевой конь, почуявший запах крови. Он уже делает шаг вперед, но вдруг его снова обрывают: раздается голос Хаима, сына Циона, который становится у амвона и выкрикивает слова добавочной молитвы.

В продолжение всей этой молитвы Пантель стоял, как на раскаленных угольях. Ноги его вздрагивали, словно кололи их булавками, и все его тело с'еживалось, тянулось, рвалось туда — к тем евреям, что столпились за «ученым» столом. Время от времени он также бросал украдкой взгляды на сына, и ему, правда, представлялась весьма неприятной вся эта история, разыгравшаяся в четверг... Но нет! Он не питает никакой вражды к сыну, ни капли ненависти...

И он не замечает даже, что евреи уж снимают свои «талэсы», передают их своим ребятишкам и собираются уходить.

---

* Каждую субботу утренней молитвы следует чтение отрывков из торы (пятикнижия), после чего следует «добавочная» молитва. *Прим. перев.*

Но вдруг сквозь шум, обычный в синагоге по окончании молитвы, до него доносится голос реб Вовы. Пантель услыхал, как тот обращается к раввину:

— Да, да, рабби, некрасивая история... очень некрасивая...

Раввину, повидимому, все уже было известно, потому что он при словах реб Вовы покачал головой, воздел очи и только произнес:

— Ой, грешно, грешно, грешно...

Подходит Юдель-самогонщик, неистово размахивает руками — видно, вошел в экстаз — и кричит:

— Надо их оштрафовать, оштрафовать, рабби! Весь город они заражают грехом! Маленькие дети могут еще...

Но не успел он кончить, как Пантель, расталкивая выходящих евреев, одним прыжком очутился перед амвоном и, подняв кулак, стал размахивать им в воздухе.

— Что? — рычит он, и все его лицо бешено прыгает. — Кто заражает грехом?.. Детей, детей?.. — Голос его осекся, и он замолк.

— Тише, ша-а-а, опусти руку. Нельзя подымать руку на ученого мужа, — говорит тихо раввин.

— Ах ты, хамское отродье! Дерзкий, наглый бесстыдник!.. На кого это ты подымаешь руку, неотесаный мужик?

И когда до Пантеля снова доносится голос Юделя, он задыхается и багровеет. Он раскрывает рот, но не знает, как начать; тогда он подгибает колени, как человек, готовящийся вскочить на лошадь, но ему все же удается овладеть собою, и он вдруг восклицает:

— Рабби, я мужик — это правда, я грубый человек. Но он — доносчик! — И он радуется, что это слово, наконец, пришло ему на язык. — Да, да! — кри-

чит он еще громче. — Разве ты не доносчик? А кто донес на Ицхока-Йойну? Кто?!.

Стоят товарищи вокруг Менделя, а тот все еще сидит за столом. И они не могут решиться, что тут делать: оставаться ли здесь или бежать туда — к Пантелю? Но Мендель, хотя и сидит за столом, однако вцепился в молитвенник изо всей силы, как за последнее препятствие, чтоб удержаться и не вскочить. Но при последних словах Пантеля ему уже невтерпеж. Он прыгает на стол.

— Да, да, — повторяет он вслед за отцом, — доносчик... он доносчик!..

Правда, весь город уж давно об этом говорил. Рассказывали как-то, что сына Юделя видали входящим к вахмистру; другой встретил дочь Юделя, когда она спускалась со ступенек комендантской квартиры... И каждый раз после такого «визита» непременно уж «накрывали» одного самогонщика, а иногда и двух за-раз...

Теперь уж развязался язык и у парней — товарищей Менделя, — и они кричат Пантелю:

— Хорошо! Так их! Покажи им! Проучи их!

Юдель растерян, что-то лопочет. Но реб Вова выручает его. Он обращается к толпе:

— Евреи, — кричит он, — слыхали, на что дерзкий негодяй способен? Вышвырнуть его из синагоги, вышвырнуть!

Два-три чернобородых еврея бросаются к Пантелю, но он одним взглядом останавливает их.

— Рабби, рабби, — рычит снова Пантель, — я не знаю... Я грешил? да, я грешил... но, рабби, чем они лучше меня? чем, рабби? — рявкнул он вдруг так оглушительно, что у раввина ермолка на голове затряслась, и он едва удержался на ногах. — Рабби! А реб Вова разве дочку свою не посылает к коменданту?

Гробовая тишина. Тогда реб Вова сам (такой позор!) начинает визжать:

— Евреи! Вышвырните его! Вон!..

А Пантелю он хрипит:

— Тебя вышлют отсюда, закованного в цепи! В цепи закуют тебя!.. Евреи!.. Что же вы стоите?

Один еврей набирается храбрости и ударяет Пантеля по затылку. Пантель мигом оборачивается, и тот уже лежит на полу и кричит, как зарезанный... Копель и Янкель стоят уже возле Пантеля, и Янкель ни слова не говорит... Вдруг вырастает среди них кривой Гройнем, у которого в слепом глазу уж сияет огненно-красная бездна... Но Мендель обнаруживает еще бо́льшую удаль: он прыгает со стола на скамьи, со скамей на головы, и голос его уж раздается в том месте, где стоит его отец...

В невообразимой толчее, словно во время пожара, евреи сшибают друг друга с ног, падают окровавленные.

Те, кто еще на ногах, рвутся к выходу, прочь от рук «Исава» *.

Пантель стоит, как пригвожденный к месту, пока толпа вокруг мало-по-малу не редеет. Когда последняя кучка евреев удирает, растеряв бархатные шапки, прикрыв головы фалдами сюртуков, Пантель кричит им вслед:

— Одна холера чтоб вас всех передушила!

Но Файвке это не нравится, и он поправляет:

— Одной холеры для них мало!

И, глядя на его жульническую усмешку, парни покатываются с хохоту — и трудно сказать, что теперь в синагоге громче: плач или смех.

---

* Брат библейского Иакова. Здесь — в смысле врага. *Прим. перев.*

Один только Ичелэ стоит в стороне. Насчет драк он не мастер. Только радуется в душе, что есть такие удальцы на свете...

Когда Пантель отправляется домой обедать, он уже прямо подходит к Менделю и, вынимая из потаенного места сто русских рублей, вручает их Менделю:

— Сделаешь себе костюм, — говорит он.

И ему же он поручает передать еженедельную дань вахмистру и унтер-офицеру.

ГЛАВА VI

Когда после обеденного сна жители местечка стали подниматься с постели и приоткрывать ставни, в комнаты заглянуло жаркое июльское солнце, стоявшее еще высоко, хотя было уже четыре часа дня.

Старый Шайка в ватных штанах, в бархатной фуражке стоял возле открытой двери и глядел на светлую землю, ослеплявшую своим сиянием. Он взял на руки четырехлетнего ребенка Шейны, вышел за дверь и присел на пороге. Его потускневшие глаза, похожие на потертую матового цвета жесть, добродушно улыбались. Играя и забавляясь с ребенком, он повторял:

— Ай, то-то-то! — и водил трепещущими пальцами то по грудке, то по животику ребенка. И ребенок смеялся и жмурил глазки от яркого света. Старик, полный гордого довольства достигнутыми результатами, все продолжал повторять:

— Ай, то-то-то!

А ребенок беспрестанно смеялся.

Услышав, что старый Шайка сидит на улице, все соседние дети, очень любившие его, вышли из своих домов, не ожидая даже субботних фруктов, уселись

вокруг старика, дергали его за рукав или тянули за бороду.

Старик не сердился. Казалось даже, что это доставляет ему большое наслаждение. Он тоже хватал их за штанишки, и если ему удавалось кого-нибудь из детей схватить и прижать к своей груди, чего они не любили, он обычно клал мальчика на левое колено, головку наклонял к земле и бил ребенка по мягким местам. Ребенок поднимал крик и вой.

И хотя эти крики были лишь в шутку, а на самом деле ребенка душил смех — все же матери повыскакали из домов в субботних кофтах, в чепчиках, босоногие, притворно сердясь:

— Что вы скажете про старика?.. бить маленьких детей!.. — кричит одна.

— Вот попробовали бы его высечь по этому месту!.. — вставляет вторая и отворачивается, чтобы не видели, как она смеется.

А третья притворяется, что она вне себя от гнева:

— Чтоб тебе пусто было, порази тебя тьма!

А дети кувыркаются и хохочут, а иные чуть не плачут от избытка радости.

Случается, что проходит мимо старый Король. Тихими мерными шагами — остатки былой важности — шествует он и, остановившись у порога, произносит: «доброй субботы!»; затем начинает расспрашивать, что слышно, как насчет заработка, здоров ли.

Таким образом между обоими старичками завязывается разговор о былых временах, о временах минувших.

Шайка встает, не выпуская ребенка из рук, и оба старика плетутся по тротуару.

Шайка приходит в восторг от сладостных воспоминаний, причмокивает и самодовольно лопочет:

— Помнишь, кварта водки стоила восемь грошей, а четверть гуся — десять грошей...

— Да, тогда-то именно наш брат и мог налопаться и напиться во-всю, — отвечает Лозер с басовыми нотками в голосе, словно тридцать лет тому назад... — Разве боченок пива имел тогда какое-либо значение? В субботу — в самую обыкновенную субботу — стоит, бывало, перед тобой большой бочонок пива, — и пей, брат, сколько влезет!..

— А кусок жаркого, — не отстает от него Шайка, — ведь прямо по зубам текло, чуть только возьмешь в рот...

И от собственных слов Шайка входит в такой азарт, что совершенно забывает, что это ведь было сорок лет тому назад... Он теперь облизывает языком свои засохшие губы, и ему кажется, что вот теперь он держит в зубах кусок гуся, ну хотя бы пупок... и он работает при этом зубами медленно и спокойно, чтобы действительно текло как можно больше... И в его оловянных глазах зажигается сластолюбивый греховный огонек...

Но за это сластолюбие старик получает свое возмездие немедленно же: он вспоминает, что то, о чем он говорил, уж давным-давно уплыло, что сегодня он получает по карточкам ржаной хлеб, и в нем — куски соломенной сечки, которая царапает ему дёсны. И он действительно вдруг начинает чувствовать, что его язык сегодня — словно кусок сухой кожи во рту, что не жир течет по языку, а так и прет запах черного хлеба и ржаных клецок, приготовленных к субботней трапезе.

Тогда Лозер хватает его за свободную руку и ведет к своему сыну, живущему здесь же напротив.

Там теперь не жизнь, а масленица. Шумно, как на маленькой свадьбе.

Хаимка-Король сидит за столом на почетном месте, одетый в шерстяной шлафрок (в местечке даже «Король» носит хасидского образца шлафрок); говорит он громовым голосом, который не очень-то гармонирует с его почтенным шлафроком...

По обеим сторонам стола сидят «пшиятели»: Пантель, Копель, Янкель; Кривой Гройнем тоже тут как тут. А Берчэ заглядывает в окно и ухмыляется в сторону смуглой польке; та стоит напротив, подле ворот, и водит черной туфелькой по песку, не обращая на него внимания.

А в углу, на низенькой скамеечке, жена Хаимки — толстая Бейля—няньчит младенца, глазки которого блестят, как угольки. Возле Бейли сидит на стуле владелица мясной лавки Доба, которую обыкновенно зовут «Наездницей».

Обе женщины беседуют насчет войны, — тема, совершенно забытая в местечке со времени спекуляции. Доба пришла с новостью, что ее муж Пелта находится в Одессе. Один варшавянин, лишь недавно вернувшийся из плена, пишет ей, чтобы она заглянула к нему в Варшаву — он привез ей привет от мужа.

Тут и Хаимка вмешался в разговор о войне, и разгорелась беседа о разных людях — добрых приятелях, которые находятся по ту сторону границы и по которым так часто тоскует сердце. Взять хотя бы того же Пелту — одного из лучших «пшиятелей».

И весь этот разговор был пронизан какой-то тоской, которая выражалась в том, что люди стучали кулаками по столу и сверкали глазами. Эта тоска проникает к ним сквозь их железные плечи и железные легкие. И каждому так и хочется встать вдруг из-за стола

и крикнуть ни с того ни с сего прямо в воздух: «Послушайте — чорт бы побрал ваших матерей!». — Такая это была тоска...

А со стороны казалось, будто люди горячо спорят о чем-то, ссорятся и готовы вцепиться друг другу в волосы. Ибо все лица багровели, пылали огнем. И эту огромную тоску они ощущали так, как будто кто-то воткнул им во внутренности большие толстые дышла и душит их.

— Берчэ! — восклицает вдруг Хаимка, все еще стуча кулаком по столу, — принеси-ка выпивку!

Стоило только Берчэ услыхать это, как немедленно и след его простыл; Копелю едва удалось крикнуть ему вдогонку:

— И пару маринованных селедок!

И после выпивки тоска мало-по-малу рассеивается, и снова радость и веселье царят за столом.

И если и теперь кой-когда вспоминают про войну, то лишь в связи со «спекуляцией»...

Копель вспоминает о немецких сторожевых отрядах: на каждые две мили новый отряд, и каждому подавай отдельно масло и яйца, — чтоб им жизнь была горька!..

А Хаимка говорит о том, что немцы реквизируют лошадей, и за лошадь, которой цена по меньшей мере две тысячи марок, они платят — как только немцы могут себе позволить.

— Но ты, Пантель, раздобыл жеребца... Если бы ты хотел продать его теперь, тебе бы дали за него двойную цену.

Но Пантель не отвечает. Упорно молчит он и только глядит на скатерть. Каждую минуту поднимает голову, бросает взоры через окно на улицу, как будто чего-то ожидая, и потом снова глазами в скатерть, трет ее толстыми пальцами, и кажется, что скоро он просверлит дырки не только в скатерти, но и в столе.

ГЛАВА VII

Когда отец Хаимки вошел в дом к сыну вместе с Шайкой, последний, увидев Бейлю с младенцем на руках, вспомнил, кто у него в об'ятиях, и подумал про себя: «Вот тут-то будет работа...»

Он присел на корточки у ног Бейли — и давай щекотать в животик то одного, то другого ребенка, затем водить мизинцем по грудке сначала одного:

— Ай, то-то-то...

Затем другого:

— Ай, то-то-то...

И оба младенца уже улыбаются, смеются, тянутся друг к другу ручонками.

И старый Шайка в избытке радости начинает напевать какую-то песенку неопределенного мотива — не то на валашский лад, не то на турецкий, не то на татарский,—нечто такое, на что способен один только Шайка.

Между тем входит Берче с бочонком вина и насосом; тогда вынимают деревянную втулку, вставляют в отверстие насос, и Берче стоит уже возле бочонка со стаканами и разливает пиво.

Доба-«Наездница» со стаканом в руке чокается на мужской манер:

— Дай бог мне в скором времени иметь здесь моего Пелту!

И все отвечают:

— Аминь!

Берчэ действует насосом и разливает пиво, а когда не хватает стаканов, он подставляет рот прямо под кран, и сколько перепадает при этом в его глотку, это остается его тайной... Лицо и затылок его багровеют. Он наклоняется над столом, чтобы взять опорожненный

стакан, когда Гройнем льет ему пену за воротник, и Берчэ снова уж стоит у насоса и весело скалит зубы.

Через открытую дверь второй комнаты — это их спальня — можно видеть Цивку, дочь Хаимки: красивую девушку с черными глазами и загорелым лицом. Рядом с нею ее подруга, называющая себя «Паулиной», рассказывает — частью вслух, частью на ухо — об Янеке, писаре из магистрата. Цивка что-то переспрашивает, и та снова рассказывает. У обеих губы полуоткрыты — полные, чувственные губы. Вздымается грудь, колышутся блузки; девушки все говорят и говорят об этом писаре и при этом заплетают косы и смеются прерывистым коротким смехом и улыбаются друг другу полусмущенно, полузадорно. И обе, не сговорившись, решают про себя: прогуляться по шоссе, чтобы там встретиться с польскими парнями, побегать по полю и затем стыдливо броситься на траву...

Берчэ, держа рот под насосом, одним глазом глядит туда — в сторону девиц, вдруг широко раскрывает рот — и пиво хлещет из насоса, обдает Берчэ с ног до головы. Но Берчэ быстро овладел собой и хохочет, а через минуту он стоит уже в соседней комнате и кричит:

— Цивка, стакан пива! впусти!..

Обе девушки хохочут, подталкивают друг дружку локтями, как бы говоря:

— Поглядите на него! рожа-то, рожа какая! Не то, что те...

Так они переговариваются локтями и прекрасно понимают друг друга... Тогда Цивка берет стакан пива и говорит:

— А для Полички почему не принес?

— И то правда, — отвечает он и немедленно приносит ей стакан пива.

Цивка подносит стакан к своим белым зубкам. Парню нравится, как она пьет, как при каждом глотке трепещет ее шейка, и, уже совершенно не владея собой, он снизу по донышку бьет ладонью. Девушка захлебывается и обдает его брызгами пива. Подруга хохочет, но та чуть не плачет со стыда.

Видит это Хаимка — и звонкой пощечиной огревает Берчэ. А тот, как ни в чем не бывало, возвращается в первую комнату и продолжает работать насосом.

Доба, тоже опьянев от пива, при пятом стакане садится за стол и начинает пересказывать — по меньшей мере в сотый раз — историю о том, как она сошлась со своим Пелтой.

— У моего отца,—рассказывает она,—была в Лодзи самая крупная мясная лавка по продаже кошерного мяса. Каждый день коровы взвешивались десятками. Входит он однажды — хотел продать пятьдесят телят — и видит меня, как я стою у весов. Я тогда была не та, что теперь, далеко не та!.. Лицо сияло, как солнце. Длинный белый передник... Не успел он и глазом моргнуть, — а я как подыму четверть туши в сто пятьдесят фунтов весу. Ну, что же вы думаете? — Он не втюрился в меня до сумасшествия?

Копель благословляет ее:

— Ломота тебе в кости!

Но вдруг из-за дверей раздается голос Берчэ, вышедшего на минуту из дому:

— Вот как? И много их прибудет сюда?

— Пятьдесят немцев, — раздается голос Арона-квартирмейстера в форточку и спрашивает:

— Кто прибудет, Арелэ?

— Пятьдесят немцев, — раздается голос Арона-квартирмейстера, только что подошедшего. — И среди них — шесть офицеров и девять инженеров...

Услышав такую новость, Хаимка приглашает его к себе в дом. Ему наливают стакан пива, и Арелэ рассказывает, что он получил предписание от коменданта явиться к нему. Когда он явился, комендант его спрашивает:

— Вы — квартирмейстер?

— Да, — отвечаю я и показываю бумагу.

— Хорошо, хорошо, — говорит он. — Вы должны приготовить помещение для пятнадцати офицеров и инженеров. Тридцать пять рабочих будут спать в комендатуре...

— Так, так, — приговаривают присутствующие. А извозчики уже морщат лбы и думают каждый про себя: «Столько собак сразу!».

А Арелэ, разгоряченный от пива, заводит ни с того ни с сего разговор о войне.

— Что вы думаете — это хорошо? Послушайте, что я вам скажу — это совсем нехорошо... Я спрашиваю коменданта: что ж — они приличные люди? «Одного я знаю, — отвечает он, — злющая собака». Тогда я говорю: но ведь мое имя Арелэ, и у меня есть бумаги. А комендант доволен, прямо любуется мной... А то как же?.. Мое имя Арелэ — или нет?..

И Арелэ вдруг выхватывает из кармана носовой платок, поспешно вытирает им бороду и усы и почти шепчет им на ухо:

— А помните вы, кто такой Арелэ? Вы помните?

ГЛАВА VIII

— Вы помните, когда вдруг была об'явлена «билизация?» * Боже, что тогда творилось во всем мире!

---

* Мобилизация.

Но это еще пол-беды. А вот когда немцы стали приближаться, тогда стало совсем плохо. Поляки доносили на нас. Разве Мачижак не доносил русским, что я — Арелэ — шпион?.. Но они ему, конечно, не поверили.

После, когда получился «рапорт», чтобы выгнать всех евреев, — так ведь как раз в это время вечером ходил «патруль» по улице, и они услыхали выстрел из дому Янкеля-фельдшера. Ну вот они и вбежали туда, стали искать и вытащили всех евреев: Ицхока-Йойну, Занвиля-меламеда, Ноту, Янкеля-фельдшера, и всех их жен и детей. И хотели всех их расстрелять — всех поголовно.

— Да, да, — поддакивают женщины, а старый Шайка при воспоминании о тех днях перестает уже напевать свою песенку, не забавляется с детьми, а сидит тихо-тихо, как будто слова, которые только что признес Арелэ, воскресили в его памяти и оживили те жуткие картины, которые разыгрались здесь при русских властях...

— Тогда,—продолжает Арелэ,—у коменданта как-то прорвалась шинелька. Спрашивает он у солдат, кто здесь в местечке хороший портной, который мог бы положить заплатку так, чтобы и узнать нельзя было. Ну, конечно, указывает на меня. И вот входит он, комендант, значит, с двумя солдатами и спрашивает:

— Кто ждесь Арол-квартирмейстер?

Ну что ж вы думаете — моя жена не начинает тут же падать в обморок?

Но я отвечаю — вы ведь сами знаете — без малейшего страха:

— Так точно, ваше высокоходительство! я сам Арон-квартирмейстер.

Тогда он говорит уже более мягким голосом:

— Такой чин большой у тебя? — И показывает прореху на своей шинельке. — Сделаешь, чтобы нельзя было узнать? — спрашивает он.

— Так точно, — отвечаю я.

— Но чтобы совершенно нельзя было узнать!

— Так точно.

Снимает он шинельку, и я сам сажусь на стол. Мои сыновья уже всовывают нитки в иголки, я приказываю своей жене приготовить хороший утюг — чтоб аж трещало! И вот она берет и насыпает полный утюг углей, раздувает и ставит возле меня на кирпич.

Улыбается комендант и прикладывает руку к утюгу — на дворе уж был порядочный холод! — и улыбается солдатам. Вижу я, что он не злой «русак», и говорю жене:

— Ханче, поставь-ка стаканчик чаю для «его превосходительства».

Слышит он русское слово и спрашивает:

— Што ты гаварил?

Отвечаю ему, что я велел приготовить чай для его превосходительства; тогда он улыбается уж и мне и садится на стол и глядит, как я чиню его шинельку.

Ханча между тем вымывает начисто граненый стакан, пейсаховый, с блюдечком и ложечкой. Поставила на стол стакан чаю с сахаром, с четырьмя коржами — загляденье да и только!

Он не заставляет себя долго просить — на улице был уже тогда изрядный холод! — и пьет и просит подать еще стакан, потом снова смотрит на мои руки. Говорю я ему: «Чего, мол, так смотрите мне на руки? ведь у меня от этого пальцы дрожат, и я не сумею сделать работу, как следует». А он опять смеется и обращается к солдатам:

— Хорошенький жидок!

Потом опять смотрит мне на руки и вдруг сдвинул брови — как будто разгневался — и спрашивает совсем, почему я копаюсь с его шинелькой и не делаю заплаты.

— Как? Что вы, ваше высокородие? — говорю я. — Вот ведь я уж кончаю заплату.

— Где кончаешь? — спрашивает он. — Я ведь здесь никакой заплаты не вижу.

Тут уж я начинаю смеяться, а мои ребята не оставляют меня в одиночестве и как выпалят, как расхохочутся, так комендант думал, что теперь лето на дворе, и это гром гремит... А я говорю:

— Ваше высокородие хочет видеть заплату, которую сделал Арон-квартирмейстер? Заплату, которую Арон-квартирмейстер вшивает, — можно уж искать днем с фонарем, и то не отыщешь!

И я показываю ему место, где находится заплата. Он присматривается, ищет, но ничего не находит... Только тогда, когда я взял его палец и заставил его ощупать шов, он узнал, кто я такой... И говорит он мне:

— Арол, ты молодец! Что ты хочешь за свою работу?

Отвечаю я, что еще не готово — надо еще перешить пуговицы: тот портной слабо пришил их; кроме того надо выгладить всю шинельку... Теперь уж он больше ничего не говорит, но когда я подношу ему одежу и он надевает ее и глядит в зеркало, он кладет мне руку на плечо:

— Скажи, сколько хочешь — так я тебе заплачу.

И он уже всовывает руку в карман своих брюк и уж собирается открыть кошелек. Тогда я обращаюсь к нему:

— Ваше высокоходительство! Я не хочу ни копейки... ни единого гроша!..

— Но все же, — говорит он, — скажи, не стесняйся, все я тебе дам, что ты только ни захочешь!

Тогда я собираюсь с духом и сам не знаю, кто это меня так надоумил и откуда у меня взялось столько храбрости, чтобы сказать это, и я обращаюсь к нему:

— Ваше превосходительство! Семнадцать человек заарестовали... за донос... за ложный донос... Они нисколько не виноваты в этой стрельбе... совершенно не виноваты... Ицхок-Йойна, портной готового платья, который даже к своему собственному ребенку никогда пальцем не дотронется... затем Хацкель-меламед... меламед, ваше превосходительство...

И оба сына стоят, как окаменелые, и оба солдата смотрят на меня, как два разбойника, а жена моя падает в обморок... Но я ни на что не гляжу, решительно ни на что — я готов на подвиг во имя господне!.. Вдруг вижу — он хочет мне что-то сказать, и я умолкаю. Тогда он обращается ко мне так:

— Арель, ты отважный человек! В солдатах служил?

— Так точно, ваше высокородие,—отвечаю я,—служил в сибирском полку, в седьмой роте, в швальне.

— Ты мне нравишься, — говорит он. И снова: — Ты отважный человек. Среди евреев немного есть таких... Я сделаю расследование об евреях, о которых ты говоришь, и если они не виноваты, то их не расстреляют, их выпустят на свободу.

Тогда все бросаются к нему — я, Ханча и мои ребята — целовать ему руки, а он подымает руки и говорит:

— Не надо!.. не надо...

Тут Арелэ-квартирмейстер переводит дыхание и в один прием опорожняет стакан пива. Он глядит на своих слушателей, глядит молчаливо, без слов; но

взгляд его говорит больше, чем все слова, чем все языки в мире. Он выпивает еще стакан, но продолжать свой рассказ он считает излишним, — все и без того знают, прекрасно знают.

Боже, что тогда творилось! Раввин — царство ему небесное! — с длинной белой бородой, с большой ермолкой на голове, в атласной шубе, пришел в дом к Арелэ-квартирмейстеру в сопровождении самых почетных обывателей, принеся с собой самые лучшие вещи. И накрыли стол белой скатертью, и раввин пил за здоровье Арелэ. Он простер к нему свою руку и пожелал, чтобы он — Арелэ — сподобился видеть пришествие Мессии за великое дело, что он сделал, спасши от смерти семнадцать душ...

А потом, когда все евреи местечка были уже «беженцами» в Варшаве, — разве тогда Арелэ не мог остаться у себя дома так долго, сколько душе было угодно? Но он не хотел: «Случается, что и у сатаны бывает насморк», — как говорит пословица.

Зато какой почет! В «комитете» — лучший уголок для Арелэ! Затем он попал к «великим мира сего», к петербургским адвокатам, жившим во дворце в Краковском предместье... Они обо всем расспросили его подробно, дали ему много денег и снабдили его такими бумагами, которые равноценны примерно медали... и сын его Ичелэ и по сию пору носит их всегда при себе в кармане и не может с ними расстаться ни на минуту... Потому что он — Ичелэ — тоже такой парень, который читает кой-какие книжки...

Потом его опять пригласили в какое-то другое место — он сам не знает куда, — всюду были охотники посмотреть на него!.. Усадили его на плюшевое кресло и снова расспросили подробно обо всем и все это записали в книгу.

«Да будет тебе известно, — говорили ему, — что имя твое навеки останется в памяти еврейства».

А после всех расспросов ему обещали, что он получит из «комитета» все, что ему ни понадобится, и наконец отпустили его обратно к землякам-беженцам...

Вот какая история случилась в этом местечке с Арелэ-квартирмейстером, и Ицхок-Йойна и по сей день не забывает, что он—Арелэ—спас его от верной смерти: каждую неделю, как только бог посылает пятницу, он ему присылает «сороковку». Но Арелэ колеблется принимать этот дар: «Зачем? ведь это стоит денег».

Когда Арелэ по окончании своего рассказа принялся за пиво, начало уже смеркаться. Евреи уже окончили предвечернюю трапезу и отправлялись на вечернюю молитву. Вся компания поднялась с мест. Один только Гройнем остался: он задремал. Копель тормошит и будит его:

— Холера тебе в нос! Что ты — заснул совсем?!.

Тот спохватывается ни жив ни мертв. Видя, что на улице уже темно, он стремительно направляется к двери и говорит:

— Ну, пойдем-ка к подводам...

Но Пантель сегодня не поедет. Он сам не знает, почему — как-то нет охоты. Завтра, может быть...

Позже всех поднимается с места старый Шайка с заснувшим младенцем на руках. Сумерки. На улице уже довольно прохладно. Он прикрывает ребенка своим «маленьким талэсом» (религиозное облачение, похожее на большой «талэс») и с ношей бредет по тротуару домой к своей Фейгелэ.

ГЛАВА IX

Сролька Булд, шурин Добы, молодой человек лет двадцати пяти — двадцати шести, имел уж на своей

шее немало процессов из-за лошадей. Они — немцы — спуску не дают! При русских, бывало, если сцапаешь где-нибудь лошадку, то достаточно было только — красненькую жандарму, и дело в шляпе! Ты уже свободная птичка и можешь делать, что твоей душе угодно... А теперь тебя покорнейше просят за такие штуки боками нары пощупать, а иногда можешь еще получить за это веревочку на шею.

Белый Касриэль еще с самого начала, когда немцы только что пришли, получил хороший урок — отсидел четыре месяца, и с тех пор он дал полный отдых своим рукам!..

Но Сролька, хотя он по профессии, собственно говоря, мясник, имеет мясную лавку — лавку Добы, — однако, если случится, придет к нему кто-нибудь между днем и ночью и укажет на «смиренную» лошадь, «невинную перед богом и людьми»... то как это можно устоять против соблазна и ни с того ни с сего махнуть на нее рукой — ни мне, значит, ни тебе?..

И вот за такие-то дела он уже месяцев шесть-семь не показывается на свет божий... И Добе приходится стоять в мясной лавке одной, и если есть для продажи четверть туши, то глядит во все щели — не идет ли немец «реквизировать».

Тяжело, очень тяжело теперь быть мясником. Где вы увидите, чтобы крестьянин привез корову на базар для продажи? Теперь он барином живет — и сами пожалуйте к нему. А по дороге держи ухо востро, не то попадешься! И приходится с ней брести окольными дорожками, водить дворами и закоулками, потом спешно приглашать резника и сейчас же приканчивать.

В тот самый субботний вечер, когда обе подводы — Копеля и Янкеля — тронулись в путь, Пантель с двумя

девками выпроводил их далеко за город по шоссе. На обратном пути услышали они дикое мычание, кинулись и застали несметное количество народу. Оказалось, как только завечерело, — Сролька Булц вошел в город со стороны поля с коровой, весом свыше тысячи фунтов и такой упорной, что он еле-еле довел ее до города.

Когда он уж пригнал ее во двор, ему навстречу идет бывший приказчик его брата, теперь уже сам себе хозяин, одетый уже в рабочую тужурку, пропитанную насквозь запекшейся кровью. Корова почуяла кровь, рванулась из руки Срольки и бросилась по двору, как безумная. Не успели они подбежать к воротам, как она уже по ту сторону двора, несется по полю, топчет траву и мчится прямо на рыночную площадь. Люди бегут ей навстречу, хотят ее поймать, а она маленьким переулочком — прямо в поповский сад.

Сад окружен низким забором; корова, перемахнув забор, попадает как раз на колодец и застревает между четырьмя узкими стенками, мордой и передними ногами книзу, к воде.

Сролька тем временем забыл, что ему на глаза нельзя показываться, и вместо с другими бегал вслед за коровой. Но когда издали показался егерь, который как раз в это время стоял возле комендатуры, бывший приказчик его брата толкнул его:

— Сролька, не видишь разве там егеря?.. Превратись в зайца...

И Сролька сделался зайцем. Но он все же не оставил окончательно этого места, но кружился вокруг да около по разным закоулкам, пока не проник наконец в поповский сад с другой стороны. Там он взобрался на дерево и сверху стал следить.

В поповском саду было черным-черно от людей: стар и млад—евреи и христиане—сбежались поглядеть, как будут вытаскивать корову из колодца. Из бойни притащили толстые балки и длинные веревки. Веревки эти намотали на вал, вращавшийся вокруг своей оси, а концы оси опирались на балки, положенные на стенки колодца. Концы веревок опустили в колодец.

Но нужно было еще иметь сильного человека, который бы спустился в колодец, и притом человека небольших размеров, так как было очень мало места для действия. И вот Пантель оказался как нельзя более подходящим для такой роли: он опустился вниз, обхватил веревками и рога и задние ноги коровы; затем стали крутить вал, а Пантель помогал: он одновременно и таскал, и толкал, и крутил.

Несколько раз останавливались перевести дыхание, хотя за дело взялись самые здоровенные люди местечка — так тяжела была эта работа.

Резник ждет уже возле колодца,—может быть, она и ногу сломала, как ее поведешь?

Тяжелая это была работа, но в конце концов удалось извлечь ее из колодца.

Тогда Касриэль Белый внезапно почувствовал, что руки его после долгой спячки начинают пробуждаться от сна... И он быстро сообразил, что такие благоприятные моменты не так часто подвертываются... Тогда, не долго думая, он пустился по улицам, наскоро «обревизовал» несколько домов, что можно было — пихал в карманы, а чего нельзя — за пазуху и под полу.

Разошлись люди по домам — и вой поднялся. Некоторые сейчас же догадались, чья это работа — то тут, то там раздавалось:

— Это — Белая голова!..

— Где он?

— Поймать его!..

А его уж и в помине нет, и все похищенное уже переправлено Шмуэлю-Горбуну. Горбун припрятал это так основательно, что ищи или не ищи, хоть будь ты о семи головах, все равно не найдешь — пиши пропало! Но несмотря ни на что, Касриэля все же разыскали, не скупились при этом на колотушки, засадили даже.

А когда на следующий день он доказал свидетельскими показаниями, что последним ушел из сада, его выпустили...

Пантель, который изрядно устал от работы, ходил по базару размеренными шагами, и руки его, натертые веревкой, горели и ныли. Когда он был уже почти возле своего дома—оттуда выбегает Урка. Увидав отца, Урка начинает плакать:

— Папа, я ведь ищу тебя. Мама кричит. Годль говорит, что надо послать за доктором...

Пантель снова растерялся. После так хорошо проведенной субботы — на вот тебе! Но ничего не попишешь — пропало!..

Он послал за доктором. Всю ночь в доме Пантеля творилось неописуемое: Глика исступленно кричала, доктор и фельдшер не отходили от постели, никого в комнату не впуская.

Вдруг настала тишина.

Но эта была тишина страшнее и зловещее самых сильных и яростных воплей.

И вот, как только становится тихо, соскакивает с места—ни жив ни мертв—старый Давидка, заснувший было на вязанке дров... Все прислушиваются, всем кажется, что вот сейчас... сейчас конец...

Тогда только показывается Годль, и в руках у нее миска, прикрытая полотенцем.

Все подбегают к ней, но она прикладывает палец ко рту, осторожно ставит миску, вынимает из шкафа две тарелки, вполаскивает их водой и снова тихо уходит в спальню.

Пантель не может спокойно держаться на ногах: они тащут и рвут его куда-то. Какая-то сила тянет его туда — к миске. Он подходит, наклоняется, приподымает край полотенца и видит что-то красное, мокрое, но не жидкое, как обыкновенная кровь, а нечто другое, совсем-совсем другое... И с непреодолимой силой тянет его приоткрыть, доглядеть до конца... Но он чувствует, что ему нельзя этого делать, нельзя туда заглядывать, хотя он не знает, почему собственно нельзя...

Все же он решается — сразу отбрасывает полотенце и видит целого человечка: красненький, мокренький, с ручками, ножками, с головкой и личиком. Но весь он кажется ему не больше собственного пальца.

Полный трепетного страха перед виденьями, Пантель вдруг начинает рычать, как помешанный, и бежит к выходной двери, пригнув голову, точно от внезапно обрушившегося удара.

А девки сидели в доме Шмуэля-Горбуна и, раздеваясь, беседовали между собой: вспоминали свои последние дни в Варшаве, когда даже порой и корки хлеба не было. А теперь всего вдоволь: и хлеба, и платья, и обуви.

Поздний час — уже гаснет керосиновая лампа, и через окошечко, находящееся сверху, на потолке, к ним заглядывает летняя луна, такая круглая, полная и теплая. И Сташа, раздетая до-гола, вытягивается по постели, закуривает папиросу и задумывается.

А Наче эта светлая луна напоминает о той ночи, когда они в Варшаве решили меж собой отправиться

к подводам. И становится ей одновременно и грустно и так весело, так легко на душе. Она сама не отдает себе ясного отчета в этом чувстве, и хочется ей, как тогда, спросить у тетки:

«Что это со мной?».

Но она ни о чем не спрашивает. Она только прижимается к ней, крепко обнимает ее руками, целует дважды в одну щеку и дважды в другую, а затем лежит спокойно, глядя на серебряные полосы, которые тянутся вдоль окна. Наконец она засыпает со спокойной и блаженной улыбкой на устах, скрестив руки на груди:

«Дженки * богу и за то».

А Стефка впала теперь в такое настроение, какого у нее уже давно-давно не было, как в те первые, еще совсем первые недели после... а может даже тогда это не было, как теперь... Она сидит, глядит на высокое оконце, и кажется ей, что ею вдруг овладело какое-то странное, непонятное желание... И неведомая тишина и какая-то странная задумчивость об'емлют ее... Она как будто видит через оконце улицу, дома, тротуар... Она представляет себе — как тянется тротуар до угла какой-то улицы и вдруг обрывается. Там стоит фонарь и под ним — широкая тень...

И чудится ей, что там, в тени кружатся девы и кивают глазами, ножкой, краем нижней юбки, кончиком кальсон... И юбки у девушек — короткие, широкие и легкие... А волосы у них расчесанные, напомаженные, влажные...

И кажется Стефке, что от них исходит какой-то тайный голос, который властно зовет и манит ее... Она заглядывает во вторую, черную кровать, где обе подруги спят уже крепким сном...

---

* Спасибо.

Тогда она открывает сундучок, вынимает бутылочку духов, обливается ими; затем проводит помадой по губам, обводит глаза черной тушью, и выходит из подвала...

Она идет тихо... по направлению к улице, где обычно гуляют жители местечка... Она напевает какую-то песенку и стреляет черными глазками во все стороны, как когда-то, точь-в-точь как когда-то.

ГЛАВА X

У Ицхока-Йойны в саду работа в полном разгаре — любо смотреть! С тех пор как «Гамана»[1]) убрали, а на смену ему приехал «хороший комендант», стали работать посреди бела дня: двери и окна настежь раскрыты, и внутри, в его каморке прохладно—«свежая погода!».

Длинные поленья трещат в печке, и огонь лижет котлы. Полчаса должно пройти, пока закипит. А тем временем все сидят в саду или, вернее говоря, не сидят, а лежат, растянувшись по траве кружком: головами друг к кругу, а ногами врозь.

День идет к концу. Солнце заходит, бросая на траву последние яркие блики.

С широкого развесистого грушевого дерева свешиваются такие большие груши, и похожи они на женские груди. А Пиня вертится среди деревьев, присматривается к плодам, срывает листочек-другой, с видом знатока предсказывает уже урожай будущего года.

«Лялька» лежит животом вниз и как раз рассказывает об одном происшествии, приключившемся с ним, когда он еще был холостым и жил в Чмилеве. Все

дрожали перед ним, как перед царем!.. Он с наслаждением повествует, как он однажды гулял там с девушкой по улице, беседовал о том, о сем. И что же? Вдруг подходят два парня-бездельника и приказывают заплатить им «претензионные деньги».

— Ну, как вы думаете? Заплатил я им хотя бы ломаный грош?

В это мгновение солнечный луч падает в средину группы и играет в Лялькиной бороде: по мере того как он поднимает или опускает голову, этот луч то появляется, то исчезает.

— Такой ты сильный? — спрашивает Белая голова, завсегдатай всех «млын» (самогоночных заводов). — Если так, то давай бороться! Посмотрим, у кого больше «пара».

— Ладно, — отвечает Лялька, и бородка его прыгает, то прячась в тени, то сверкая под лучами. — Ну, что же? Давай поборемся!

Он расправляет длинные, тощие руки, треща суставами.

Касриэль Белый, среднего роста, грузный, выставляет одну ногу вперед, и они начинают бороться, и каждый стремится бросить другого на землю.

Зрители, лежащие на земле, поворачиваются животами кверху, но солнечные лучи бьют им прямо в глаза, — и они садятся.

У Лейбочки лицо пылает. Но Урка, который уже научился опрокидывать рюмку «девяностоградусной», не моргнув и глазом, следит напряженно за каждым движением борцов.

Оба борца молча толкают друг друга то туда, то сюда. У Иосифа рубаха нараспашку, и по кадыку можно видеть, как тяжело он дышит. Его широкий «малень-

кий талэс» прыгает и пляшет, порою хлеща противника по лицу. Это раздражает Белого, он скрипит зубами и вдруг стремительно тянет к себе Иосифа; но тот, несмотря на полную неожиданность, все же остается прочно на своем месте. От большого напряжения лопается только кожаный поясок, поддерживающий его брюки. И после этого брюки сплющиваются и падают. Подбегает Урка и огревает ладонью по мягкому месту. Все хохочут — и борьба прекращается.

«Лялька» одной рукой ловит брюки, а другой тянется к Уркиным ушам. Но Урка и не думает ждать, пока ему уши натрут, а, высунув язык, мчится через бугорки и рытвины.

Находу ему попадается Брайна с какой-то вещью под передником. Урка останавливается, поднимает край ее платья и убегает с хохотом, ему вдогонку летят проклятья Брайны.

Котлы уже кипят, каждый берется за свою работу.

Но Пине все это не по душе.

«К чему мне, — размышляет он, — гнать водку? Да. Я, правда, уж выручил те деньги, что тогда вложил. Но снова рисковать?..»

Стоит он так и мешает завар. Попадаются под пальцы густые кусочки дрожжей, он мнет их, опускает в завар и продолжает размышлять:

«Да, этим летом нечего уж и говорить насчет сада!».

Но внезапно он убирает руку из бочки и дважды стукает себя по лбу от удовольствия, осененный новой мыслью, затем присаживается к окну, всматривается в предвечерние сумерки, которые спускаются с высоты все ниже, темнея, убеждается, что это — мысль недурная.

«Да, да, я пристану в компаньоны к Мехелю, да, да...»

Сказано — сделано, и довольно ему быть в компании с Ицхоком-Йойной и Иосифом! Выбрал свою долю, сразу очутился у Мехеля и заключил с ним компанейское дело.

— Мыло, — твердил всегда Мехель, — не дает такого большого заработка, как водка, но зато если накроют, то убыток очень маленький, а главное — никакого штрафа за это не полагается.

Так, бывало, говорит Мехель, и Пиня сам хорошо сознавал это.

Иначе — ради чего стал бы он менять шило на гайку?

ГЛАВА XI

Спекулятивная горячка охватила все местечко, словно всепожирающее пламя, которое ползет, ширится и проникает повсюду, и облизывает своими огненными языками все самые затаенные места, самые сокровенные уголки.

В Варшаву «ездят» уже не только такие, как Давидка и Шайка.

Вот и студент, когда ему нужно менять или покупать учебники в Варшаве, тоже заготовляет себе узелок и, прикрыв его своими книжками, едет «выколачивать» проездные расходы. Видит он, что это выгодно ездить за книжками... — и совершает поездки уж три раза в неделю: все равно ведь он сидит дома без дела — занятий в университете нет...

Берется за это и единственный учитель местечка; до войны он исполнял обязанности бухгалтера в местном ссудо-сберегательном товариществе; но теперь, с начала войны, этого товарищества уже нет, и жена его вынуждена поэтому принимать на дом шитье белья — добавочный источник существования...

Едет даже дочь дайона * — уже невеста. Ибо он — дайон — всю свою жизнь имел по праву давности монополию по продаже дрожжей, которые ему когда-то привозили из Варшавы, а он их уже распределял между пекарями. Но теперь никто не хочет заняться таким рискованным предприятием, как привоз дрожжей, потому что это самый «запретнейший» товар. А так как дайон человек слабого здоровья — не то он бы сам «поехал», да ему, бедному, это не под силу, — а жена тоже не может ехать — первый ветерок в поле сдунул бы ее, — такая это, с позволения сказать, «щепочка». И приходится дочери-невесте самой ехать. Это, правда, ей не пристало: такая красавица, ей ли сидеть в повозке Пантеля? Но что тут поделаешь? И бедный дайон охает и вздыхает. Но зато, когда она возвращается из Варшавы и привозит немного дрожжей — как блестят глаза на исхудалом лице дайона! И он воздевает очи к небу, благодаря, восхваляя и славословя того, чье имя благословенно, который не оставляет своей милостью даже червяка в земле... Потому что если бы не эти поездки, как бы тогда могла существовать вся семья? Разве когда-нибудь местечко могло их прокормить?

«Ездят» не только евреи, но и поляки, особенно женщины. Вначале отправлялись сами хозяйки, а дочерей оставляли дома для работ домашних. Но потом, убедившись, что это хорошее дело и чем больше рук, тем лучше, они начали брать с собою и дочерей и возили товары вдвоем или втроем.

А что получилось? Матери надеялись, что будет польза для дела, а вышло наоборот. Дочки их в дороге

---

* Помощник раввина.

Примеч. перевод.

слезают с подвод, собирают цветочки и венками украшают головы свои — такие легкие головки — затем, снова влезая в повозки, переглядываются с еврейскими и польскими парнями, согласно твердо установленным обычаям на повозках Пантеля и Копеля...

Даже невинный Давидка тоже уж испортился: он уже умеет во-время помочь девке отцепить юбку, когда та зацепится при выходе из каретки... и при этом виднеется кусок голой ноги и подвязка...

Порой такая девушка вдруг пропадает в поле вместе с парнем, помогающим ей собирать цветы. И бедные матери охают и вздыхают, если это случается посреди ночи, и набожно крестятся: «Ой, Иезу...». И матери и дочери становятся чужими друг другу, потому что если мать сидит в одной подводе, то дочь ее со своим парнем уж непременно в другой... И «спекулируют» они уж тоже порознь, каждая имеет свои особые узелки, и дочь не знает про дела матери, а мать про дела дочери...

Ах, эти девушки... эти польские девушки... А сколько радости и счастья внесли они с собой в пути!.. И в полночный час по шоссейной дороге раздаются звуки «спекулянтской» песни...

А дела на подводах оборачиваются так хорошо, что местечко и не запомнит таких времен... «Какое-то необыкновенное везение», — говорят в местечке и при этом сами себя спрашивают:

— Как давно уж ничего не отбирали?

И действительно, с тех пор как появился новый комендант со своей скрипкой, «в местечке пошла уж музыка не та...», — как выражаются спекулянты. Идет «музыка» днем, идет ночью, работают во-всю.

Конечно, есть и негодяи, — но вся суть в том, что раз «голова» молчит, то и разной мелкоте можно заткнуть глотку одной маркой — и все тут!..

Но те, что на подводах, имеют дело ведь не только с городским начальством, по всем дорогам шмыгают караулы! А к концу пути — варшавская стража, дело не шуточное! И все же продолжают ездить и уж месяца два под-ряд, как ни на один пфенниг не отобрали товару.

И надо правду сказать, местечко знало, как себя вести: когда устраивали бал для всех уездных чиновников и комендант тоже готовился к нему, — ну, разве местечко не посылало тогда ему готового костюма, работы самого Арелэ-квартирмейстера?.. Ну, и бывал он тогда доволен! Он сам тогда говорил, что все могут заниматься, чем им угодно... но, разумеется, не слишком бросаться в глаза... А если придет к нему доносчик, — так он разве позволит, чтобы тот вел его за нос?..

А раз'ездные спекулянты со своей стороны привозили ему то часы с цепочкой для его жены, то колечко... Ибо чего только спекулянты не знали? Даже то, что у него есть жена в Германии... И этим его окончательно привлекли на свою сторону...

И теперь жандармы и милиционеры не имели иной работы, как только стоять у «карточных» * комитетов и наблюдать за очередями, а дальше — не их дело!

А Хвойнарский повел свое трактирное дело совсем на широкую ногу: торгует мукой, помимо того, что втайне промышляет водкой... Говорят, что у него уже про черный день немало боченков с деньгами... Его дочери все еще навещают коменданта. И девушки убеждаются, что и среди «швабов» бывают красивые и милые молодые люди.

---

* Учреждения, выдававшие продовольственные карточки. *Прим. перевод.*

Младшая, рыжая, каждую неделю надевает свой «краковяцкий» костюм, и, когда проходит по тротуару, камни как будто горят под ее ножкой. Порой, когда комендант уделяет больше внимания сестре, ей больно, сестра спрашивает о блузке, о том, к лицу ли ей платье, — а она отворачивается... Одним словом: «рыжая Хвойнарская завидует своей старшей сестре»...

В местечке о них поговаривают, слухов немало.

Не одна еврейка в местечке уж говорила про них:

— Но кто красив, а я умна... Я ведь сразу сказала, что эти польки — непорядочные девушки.

Такие разговоры обыкновенно раздаются тогда, когда одна из девушек вдруг хворает... Но когда оказывается, что это «совсем не то», тогда местечко убеждается, что злые языки могут говорить все, что им угодно... а эти хоть и польские девушки, а все же честные...

И все же неизбежное происходит — и поплатились за это евреи. Однажды комендант, сидя у окна и глядя на обеих сестер, заметил, что младшая, рыжая, от которой он до сих пор держался как будто вдали, начинает ему больше нравиться, а у старшей — лицо неприятное и притом в талии пополнела. И вот он сидит и думает:

«Разве я виноват?.. Разве я ей — да, да, — разве я ей что-нибудь обещал?..».

Известие об уходе коменданта производит в местечке впечатление внезапно разорвавшейся бомбы... Но ничего не поделаешь... Теперь все уже знали, что виновата в этом старшая сестра... И распрощалось местечко с комендантом, пожелало, чтобы ему всюду, где он ни окажется, было хорошо, и благодарили за доброе обхождение.

Обе сестры также пришли прощаться, и у брюнетки глаза в этот раз были темнее, чем всегда... видно, немало наплакалась по поводу его от'езда... Но он дольше не мог оставаться: «долг службы» зовет его...

Он уехал — ничего не поделаешь!.. И местечко стало поджидать нового коменданта...

Новый комендант оказался человеком солидного возраста, но как ни старались определить по внешнему виду, что это за птица, — никто ничего не мог прочесть на его лице...

И местечко погрузилось в мрачное уныние — опасались, что миновали «семь жирных годов»... и что теперь начинается уже новая глава в их истории.

Тогда Ерухем — охотник до красного словечка — сказал:

— В эту субботу как раз мы читали в библии: «И воцарился новый царь в Египте»; это означает: прибыл новый комендант, который будет еврейскими руками «месить глину и кирпичи»... «Глина» означает, что будут отбирать спекулятивный товар, а «кирпичи», это — «штрафы»...

— Не каркай! — злится сосед. — Чтоб у тебя нос отвалился.

Специалисты судили да рядили, взвешивали и измеряли и наконец пришли к такому расчету: так как зла на этом свете больше, чем добра, — значит, теперь, повидимому, настало то время, когда должна начаться «година зла».

ГЛАВА XII

Был пасмурный день. Вечером зачастил мелкий дождичек, такой назойливый, пронизывающий, и падал он такими длинными, тонкими косыми струями, что проникал не только сквозь одежду и кожу, но, каза-

лось, забирался в самую душу. Закутываются в платки и шали и так сидят тихо и безмолвно; уходят в себя, не могут окончательно уйти в свою скорлупу; глядят друг другу в глаза и не видят друг друга... И никто не знает, чего он хочет, чего ему надо и чего ему не-хватает... какой-то хаос, в котором блуждают тени и призраки... Такое чувство овладевает всеми пассажирами... И движется подвода среди непроглядного мрака, и ничего кругом не видно — разве где-нибудь далеко-далеко в стороне блеснет огонек. И кажется он скорее блуждающим где-то в пространстве, чем исходящим из определенного места — из крестьянской избушки...

С некоторого времени уже начали отбирать... не все — сохрани господи! — а понемногу, зато весьма регулярно... так что каждую неделю приходится немного докладывать из собственного кармана... Эдак можно ведь все состояние потерять... Что и говорить — дело плохо... Но перестать ездить — разве это лучше? Что станешь делать тогда? Разве работу какую достанешь, что ли? Ну, и приходится ездить...

Рассказывают, правда, что немцы для своей страны набирают рабочих и платят хорошо... но к этому прибавляют: спят там в открытом поле, в бараках... кормят брюквой и картофельной шелухой... а вместо закуски угощают побоями... пинками... пощечинами... зуботычинами... И ша — тихо, не смей и слова сказать!.. И то хорошо, что существует еще на белом свете немец, который доставляет людям возможность заработать!.. Но что, в конце концов, предпочтительнее? Получать ли затрещины или околевать с голоду, оставив душу на с'едение псам?.. Или ездить и горбом каждую копейку зарабатывать?

И сидят все в каретке безмолвно, как немые. Сидят удрученные... Но как-то умудрился втиснуться в ка-

ретку посторонний молодой человек, не из «спекулянтской семейки», уселся под ноги и намеревается он что-то рассказать. Пусть говорит... лишь бы прекратилось это безмолвие.

И он рассказывает, кто он такой. До сих пор он «об'езжал Плоцк»: хороший район, разрешается возить десять фунтов, а если повезешь двадцать, тоже не беда, если только не подвернутся дьяволы... И вот он раз'езжал таким образом долгое время, и господь — благословенно имя его! — помогал ему. Бывало, правда, немало неприятностей и огорчений. «Главный» обходился каждый раз в двести марок, да сверх того приходилось заранее приготовлять два-три маленьких узелка, которые тот должен был отобрать, то-есть, собственно, самолично отдать ему... потому что он не может ведь явиться в комендатуру и сказать:

— У евреев никакой контрабанды не оказалось...

Но не беда... ладно, влетает это в копеечку, но ничего не поделаешь!

В один прекрасный день вдруг меняют стражу,— и новый начальник отбирает все дочиста... Но ничего, — никто не смущается этим... Думают — пройдет еще несколько дней, еще несколько... и он тоже станет таким, как тот... А тем временем все отбирают да отбирают... Ну, и что же вы думаете?.. Как начали отбирать, так по сей день и отбирают... Да и кроме того ему уж и приелся прежний район... Авось на новом улыбнется счастье.

Прислушиваются спекулянты к речам этого чужого, приставшего к ним, спекулянта, который ищет, бедный, выхода для себя. И все сочувственно качают головами: его горе — их горе... И приходят к заключению, что немцы сменили все караулы по всей Польше, убедившись, что «обязательные постановления» не очень-то

ревностно соблюдаются... Не так, как следовало бы... Хотя, нечего себя обманывать, — какая польза от этого немцам-то?.. Разве та только, что новые люди тоже испортятся... Тоже испытают, что значит «брать в руки»... Но иди-ка, об'ясняйся с ними! Им безразлично, испортятся ли их люди, или не испортятся... На уме у них одно только — урожай: в первую очередь отобрать и отослать к себе на родину... Ах, эта родина, родина...

— Горе, горе нам! — восклицает еврейка, сидящая у самого края каретки.

Ее не видно, но когда она говорит, то кажется, будто это кусок тьмы вырвался откуда-то из уст царицы-Ночи:

— Чем мы виноваты, что у них есть родина?

При этом немецкое Heimat (родина) превращается в ее устах в «Heimak».

Начинаются охи и вздохи, а затем наступает такая глубокая, такая необ'ятная тишина, какой нет, кажется, во всем мире.

— Кто виноват, что у них есть Heimat?

Целый рой мыслей кружится в голове чужого молодого человека: он задумывается над тем, что значит «мое» и что значит «твое», и в последнее время у него какая-то путаница в голове; он чувствует, что мысли у него не на надлежащем месте, и он никак не может сосредоточиться настолько, чтобы уловить ход собственных мыслей... голова у него, словно ветряная мельница... Но это еще пол-беды... Было бы у него хоть что-нибудь в кармане... Но он не бросил своих «плоцких» поездок, не убежал от них своевременно, пока не отобрали у него все — все, до последнего гроша...

Такие мысли покою не дают молодому человеку, и он не знает, как пособить горю; сидя так, он засы-

пает, склонив голову на собственную грудь, как цыпленок.

Тс... с... с...

Но этого еще мало. Немцам нужны также дверные ручки и медные подсвечники, над которыми женщины по праздникам совершают свои молитвы.

Между тем под'езжают к корчме. Останавливаются поить лошадей. Отдыхают. Сидят в накуренной комнате и опрокидывают одну рюмку за другой.

— С горя пьют... — так говорит даже Пантель.

Тут встречаются еще с подводами, тоже спекулянтскими, с того же тракта. Заводят беседу о том, о сем, и друг перед другом изливают свое сердечное горе.

Когда снова выходят на улицу, трепетный холод проникает до мозга костей, и все безмолвно лезут обратно на подводу. Некоторых убаюкивает мерное покачивание повозки и мелодия колес, и они засыпают крепким сном. Но когда небо начинает проясняться и бледный рассвет подкрадывается, когда мелкий дождик, льющийся уже три дня беспрестанно, прекращается и загорается тусклый осенний день, уже несущий в своих об'ятиях тишину и мягкость близкого первого снега,— тогда все просыпаются и видят перед собою оцепеневший лес.

Все спекулянты чувствуют себя отвратительно, изо рта идет какой-то белесоватый пар, во рту такое ощущение, будто он набит мехом.

Один только Пантель живет и бодрствует: он машет кнутом, бьет и хлещет и вымещает всю злобу на лошадях; лошади как будто покрыты инеем, и кожа их блестит. Голова Пантеля после бессонных ночей работает еще горячее и напряженнее: он придумывает все новые и новые способы, как бы обмануть бдитель-

ность немцев, как бы провезти в целости «контрабанду»... Поэтому-то он так крепко хлещет лошадей.

Один только Давидка спит в это время. Еще глубже, чем всегда, прислонил он голову к груди Сташки и тяжело дышит.

ГЛАВА XIII

Под вечер, когда «спекулянты» снова едут в Варшаву, опять накрапывает дождик, и небо чернеет, как чернила.

Теперь едут уже осторожнее: некоторые отправляются вперед на разведки. Пешеходы берут с собой фонарики — красные, зеленые, желтые и кроме того один простой фонарик с некрашеными стеклами. Каждый цветной фонарик имеет свое значение. Увидят они, скажем, издали раз'езд, показывают сигнал красным фонариком, — тогда необходимо все большие узлы вышвырнуть из подвод — на поле, в канавы, в воду — лишь бы в подводе ничего не осталось. Приближается раз'езд, ищет, рыщет, но, не найдя ничего, вынужден удалиться с пустыми руками.

При появлении пешехода показывают зеленые фонарики: тогда ничего не выбрасывают из подвод, а сидят тихо-тихо, чуть ли не затаив дыхание.

Но случается порой, что немцы собираются в отряды человек по тридцать и устраивают «облавы». Они едут и по шоссе и по полю и стараются охватить подводы кольцом со всех сторон. Когда подводы уже окружены, эти раз'езды все ближе подходят к подводам, и с каждым их шагом замыкающее кольцо становится все меньше, все теснее. Тогда из их рук ничего уж не спасешь.

В таких случаях разведчики показывают желтые фонарики: после этого сигнала подводы делают

быстро крутой поворот и изо всех сил мчатся обратно в город.

На этот раз спекулянты едут хотя и медленно, но уверенно и без риска, потому что видят издали только простой фонарик, нецветной. Едут они так среди мрака, который заставляет всех напрягать зрение; и за пассажирами версты бегут назад медленно, но уверенно.

Вдруг какой-то голос доносится к ним сзади — со стороны города.

А нецветной—простой—фонарик все уходит и уходит в даль, а голос позади раздается все ближе и громче — и никак они не могут понять, в чем дело. Но вскоре им становится ясно, что это мчится подвода с невероятной быстротой. Кто же это может мчаться так быстро среди ночи? И тревога об'емлет их, хотя все прекрасно знают, что это — не немцы. Ибо немцы, когда они выезжают, выезжают или на небольшой бричке или просто верхом.

Вдруг в этом шуме они различают двоякого рода звуки: одни звуки раздаются позади от приближающейся подводы, а другие — несколько поодаль, от всадника. Пантель сворачивает в сторону от шоссе и останавливается у самой канавы, делая разные знаки разведчикам, чтобы они вернулись — авось они понадобятся: может быть, это разбойники за ними гонятся, хотя со времени немецкой оккупации ничего не слышно было о таковых.

Теперь Пантель уже ясно различает топот шестерки лошадей... С грохотом несутся они.

Пантель теряется. Он уж понимает, кто это может быть. Он вспоминает о легендах, передаваемых из уст в уста, о двух братьях-спекулянтах из Воли. Но это не простые ребята, не мелюзга какая-нибудь — не чета

какому-нибудь Шайке, Берелю, Файвке и даже самому Пантелю! Те не тронутся с места без бомбочки и без хороших кинжальчиков... А выезжают они всегда на шестерке и летят, как дьяволы!.. Но он никак не может понять, как они очутились на этой дороге — «что им, мол, делать в этом краю?..».

Но не успел он подумать об этом, как вдруг из мрака вырывается какой-то чудовищно пляшущий зверь, до сих пор тьмой сокрытый и теперь вдруг очутившийся в кольце белых фонариков.

В телеге на мешках с мукой, белеющих во мраке, стояли два «братца»; бешено мчались кони. Заметив стоявшие на краю дороги подводы, эти «братцы» круто попридержали лошадей, так что дышла вместе с конскими мордами рванулись кверху. И вмиг Пантель был уже окружен толпой польских парней, которые, повидимому, были спрятаны внутри повозки.

Пантелю достаточно было одного только взгляда, чтобы узнать, что это были «Гурчицкие», хотя он их никогда в глаза не видал. Но он немало наслышался о них и знал, что они раз'езжают вместе с «братцами».

А те, со своей стороны, мигом обозрев пассажиров подвод, говорят:

— Это — спекулянты, ладно!.. — и в мгновение исчезают врассыпную.

Но тут же раздается быстрый топот приближающегося всадника; еще издали кричит он, заслышав, что подвода остановилась:

— Стой — не то стреляю!

Но, под'ехав ближе, увидав, что на белых мешках с мукой никого нет, и услыша голоса со стороны поля, он уж никакого внимания не обращает ни на эту подводу ни на те, что стоят у края дороги; пришпоривает коня и пускается вслед за ними с криком:

— Стой! Остановись! Не то — стреляю!

Те, действительно, как будто остановились. Но в ту же минуту гремит выстрел. Пантель затрепетал. Он решил, что немец уже уложил одного из парней. Теперь он сам не знает, на что решиться — остаться ли на месте или скорее удрать.

А со стороны поля раздается крик:

— Хлопцы! Скорей, идите сюда! Скорей!

Пантель снова недоумевает, но чувствует, что ноги у него как-то сами собой движутся. А когда подошли его «разведчики», все кинулись к полю, туда, где немец преследовал парней.

Разведчики стояли с фонариками в руках и глядели в оцепенении на немца, свисавшего с лошади окровавленной головой к земле...

Падал свет фонарей, за крупом лошадиным вставала глубокая тьма, тянулись длинные-длинные, теряющиеся в бесконечности, тени.

Многие уж рвутся назад, хотят направиться к своим подводам: бежать, бежать поскорее, без оглядки, от этого страшного места. Но их останавливает возглас одного из польских парней:

— Закопать его!..—говорит он и показывает вблизи.

И, точно заранее условившись, два парня уходят к шоссе: караулить, не покажется ли вдруг какое-либо постороннее лицо. Остальные принимаются копать яму — палками, кусками железа и даже руками. И когда эти парни швыряют немца в яму, они чувствуют себя так, словно только что хлебнули изрядную порцию водки... Они толкают его ногами и кричат ему:

— Лежи, шваб!

А другой:

— И никому не рассказывай!

И еще один:

— И не отбирай больше «шмугель»*.

Оба «братца» из Воли торопят работающих, и когда все кончено и земля притоптана ногами, — люди идут к своим подводам.

Но тут подходит один из первых двух парней, прикладывает два пальца к губам, и глаза его пронизывают насквозь, как два остро отточенных ножа. Он говорит:

— Помните же! Держать язык за зубами!.. Чтобы мне не сметь!.. Помните!..

И отзвук его голоса долго еще отдавался в ушах.

Привязав лошадь немца к своей запряжке, парни с таким же шумом и треском, с каким недавно под'езжали, унеслись по шоссе, громыхая, точно торопясь на свадьбу.

Теперь только заметили, что Черный Берель в обморочном состоянии, а у Шайки руки и ноги трясутся. Но бог помог: очнулся Черный Берель: закашлялся он, потом вдруг застыл, точно костью подавившись, затем снова стал кашлять и, накашлявшись вдоволь, сел, будто из мертвых воскресший.

Пантель поправил упряжь. Парни и девушки уселись в каретку — ни собаки не видно было кругом. Было тихо и молчаливо. И они тронулись в путь.

ГЛАВА XIV

Кто такие эти «Гурчицкие»?..

Это знает Юрек. Пражские лошадники** тоже их хорошо знают. Когда есть какая-нибудь работа, сопряженная с опасностью для жизни, поручают им. И они с удовольствием берутся за такие дела.

---

* Т.-е. контрабандный товар, запрещенный к провозу. *Прим. перевод.*

** Т.-е. торговцы лошадьми. *Прим. перевод.*

Раз только вышла ссора между ними и пражскими молодцами, среди которых были: Арон Татарин, Бер Квашня, Иоська Бык, Хаська из Брод, Меерка Зильберман, Шмелик — уши отрезающий, Бойдель Котлета, Вадринский, Йоэль Живот и другие...

Можно себе представить, какая это сила, когда столько молодцов собирается вместе... И вот они приходят и застают обоих братцев и еще двух их товарищей — Яна Рыжего и Южека.

Понятно, когда они сталкиваются, то прежде всего вздымаются палки. А палки у них — с коваными наконечниками и с сучками посредине.

И вот выходит из среды товарищей старший Гурчицкий и обращается к лошадникам:

— Братцы! Ступайте домой и ложитесь спать! Ведь от вас так и несет водкой! Вы хватили через край, пьяницы вы этакие...

А они на это:

— Так пускай нам отдадут нашу лошадь!..

— Какую лошадь? — отвечает он. —Ни я ни мой брат ничего об этом не знаем.

Но они снова:

— Мы с места не сойдем, пока нам не отдадут лошади!

Он в ответ:

— Где она, это — не мое дело. Можете хоть головой о стенку стукаться... Я совсем ухожу... Но берегитесь, чтобы кто-нибудь из вас не пострадал...

Они на это:

— Ну, увидим...

А он им:

— Ладно, увидим...

И вот один уж орудует ножом, другой — ломом, и кровь льется со всех сторон... Пошла резня... Видно,

что не один уж останется тут на месте... Потому что, когда Гурчицкие уж вступают в драку, то это не на шутку... И вот не проходит и мгновения, как младший выхватывает револьвер и — бах в Рахмиэля Бруздэ, и уложил его на месте.

Увидели это пражские ребята, — а этот молодчик все еще стоит с револьвером и снова дуло наводит, — сразу сделали поворот налево кругом, и давай удирать, как мыши в свою нору, по камням и буграм.

Но Рахмиэль Бруздэ уж не побежал: прилип к месту. И прожил не больше пяти минут... Вот на что они способны!..

А пражские молодцы уж десятому заказали: с Гурчицкими не тягаться.

Все это рассказывает Юрек. Кончает он свой рассказ — молодежь замирает в безмолвии: вот это герои! И в порыве, от которого как будто в животе кишки сразу подымаются, каждый из них готов припасть лицом к земле в знак своего беспредельного уважения. Кажется, ведь они сами тоже ребята не из последних: вот Файвка, например, или другой, или третий... Но что они значат по сравнению с теми?..

И они чувствуют себя такими маленькими, такими ничтожными при воспоминании о том, что они сами собственными глазами видели в эту ночь...

Вот, к примеру, и у них в местечке имеются храбрые ребята, вроде Менаши, Хаимки-Короля, Пантеля, Копеля или Пелты!.. Но куда им?.. И они как-то внутренне с'еживаются в сознании своего ничтожества...

Но Пантель, который тоже не спал в продолжение всего рассказа и все слышал... он уж думает о себе совсем иначе:

«В плохие времена родились эти молодые парни... Вот если бы они знали его — Пантеля — лет десять-пятнадцать тому назад... Или когда он был в таком возрасте, как его Мендель или Файвка... О, он мог бы и о себе рассказать немало историй... Но что они знают — эта молодежь? Только за девками гнаться... Или ходить в эти «билитеи»* — книжки почитывать... Как их товарищ Ичелэ. В наше время никаких «билитей» не было... в субботу засесть в «билитею» — об этом мы и не слыхали...

...Да, и он любил когда-то погулять да поплясать... Но пожить во-всю!.. пожить как следует... — этого они не умеют!..».

И разворачиваются перед Пантелем страницы его прошлого, и ему кажется, что мир пошел не вперед, а назад, что весь мир обанкротился... Жизнь уж теперь совсем не та, что прежде, далеко не та.

ГЛАВА XV

Дождь все еще моросит. Чрез промокший насквозь навес каретки просачивается вода; она падает капля за каплей. Но внутри каретки это мало кого огорчает, — кому это теперь придет на ум заниматься такими пустяками, как дождь? Ведь тут рассказывают такие истории, что волосы становятся дыбом... А истории все не простые!..

А кончает Юрек, — начинает Файвка, тоже не ублюдок по этой части.

Его рассказ уже о «Капказе», и увлекательно повествует Файвка о каком-то великом и очень «важном» разбойнике, по прозванию «хан»; этот «хан» в течение

---

* Библиотеки.

одной ночи укокошил человек шестьдесят родственников одного врага своего и головы их уложил рядышком у дверей его дома, чтоб тот, выйдя поутру, сразу увидел их.

И много таких диковинных историй рассказывают в каретке, и пассажиры совершенно забывают, что они — простые спекулянты, и чудится им, будто они находятся где-то в лесах дремучих, в пещерах глубоких, в пустынях страшных.

И когда, наслышавшись столько рассказов и убаюканные мерным покачиванием подвод, погрузились они в дремотное состояние, уткнувшись головами в девичьи груди, — такое спокойствие овладело ими, словно ничего особенного не произошло в эту ночь... словно никакого немца они в эту ночь не похоронили...

У корчмы встречаются с подводой Янкеля, которая возвращается уже обратно из Варшавы. Там все веселы: «сошло» благополучно! По этому поводу снова выпивают.

Шайка, Берель и Давидка попеременно караулят товары на подводе. Первыми отправляются в корчму старики, а затем, когда они возвращаются, идет Давидка и выпивает несколько стаканов горячего чаю.

Все нравится Давидке в этой корчме. На улице холодно, и ему по душе этот спертый воздух, полный табачного дыма. А когда он пьет чай, он с удовольствием глядит на польских парней и девушек, сидящих за столом или возле печки, такой большой, как в пекарне. Некоторые из них так и засыпают сидя, и когда надо уж от'езжать, товарищи начинают будить их, покалывая булавками или засовывая в ноздри длинные щепочки...

Когда Пантель уже готов к от'езду, пассажиры Янкеля рассказывают ему, что, по слухам, сегодня на

карауле будут большие строгости при проезде. Поэтому они советуют ему оставить здесь немного товару. Пантелю и его пассажирам становится совсем невесело от таких слухов, — все же они и слышать не хотят о том, чтобы кое-что оставить. Тогда и ехать не стоило. В таком случае уж лучше вернуться обратно!..

И опять вспоминается недавнее, и живо встает в их воображении то, что произошло на расстоянии нескольких миль отсюда. И в мыслях создается какая-то связь между «тем» и их «шмугелем», с которым сегодня должно непременно что-нибудь случиться! Это не может ведь гладко сойти!

И трижды проклинают они эту «птицу», неожиданно явившуюся на пути, и знают: не быть добру.

Пантель часть дороги проходит пешком возле лошадей и думает совсем о другом: о муке, оставленной им в заезжем дворе.

«Чтоб у него голова распухла!»

Думает он насчет Бритоголового, который связал его, Пантеля, по рукам и ногам, не позволяет ему делать, что ему угодно, как будто он совсем не Пантель, а какой-нибудь мальчишка на посылках у Бритоголового...

— Сколько нашей муки лежит у Бритоголового? — спрашивает он у Менделя.

— Четыре пуда.

— А пятьдесят марок мне следует с него еще издавна.

— А зачем торгуешь с ним? Боишься, что не найдешь покупателей?

Пантель ничего не отвечает. Он хорошо помнит еще то столкновение, которое произошло между ним и Бритоголовым в тот раз, когда он продал было немного товару

на стороне. Там, в заезжем дворе, все дрожат перед этим человеком: раз он сказал, так сказано, и раз он сделал, так сделано. Все же Пантель чувствует, что долго так продолжаться не может. Это просто недопустимо! Он позволит водить себя за нос как мальчишка? Как? Почему? Разве его товар — не товар? Как только он привозит немного муки или зерна, так тот сейчас забирает себе, а деньги отдает лишь под вечер. А если у него отберут товар, то рискуешь еще своими деньгами! Как будто бы это было краденое! Но ведь он работает в поте лица! Сколько здоровья стоит Пантелю провезти немного товару! Отдыха — ни дня ни ночи; ни поесть ни попить как следует! Нет, нет! В дальнейшем он уже поступит по-своему.

Но, с другой стороны, хорошенько поразмыслив, он приходит к заключению, что с этим Бритоголовым ничего не поделаешь. Вот эти парни с девками — они могут делать все, что им угодно, продавать, кому им заблагорассудится... А он, Пантель, он должен быть «рабом ханаанским», потому что у него есть каретка и две лошадки... а вдруг тот возьмет да отравит ему лошадь... Так или эдак, как бы то ни было, а ему нехорошо, очень нехорошо!..

Но как только издали уж показываются огоньки варшавского сторожевого поста, все эти мысли улетучиваются, и вообще мозг в это время перестает работать. Все собирают свои узлы — кто их на голову кладет, кто на плечи — и бредут полями, чтобы обойти сторожевой пост и войти в город какой-нибудь окольной дорогой.

Шествуя по полю, пассажиры иногда натыкаются на камни, которых в темноте не видно, иной порой

поскользнется и упадет. Тогда тот, кто поближе, останавливается, помогает ему подняться и взваливает на него узелок. А иногда попадают в болото, каких немало на пути. И надо, действительно, только удивляться, что они не простужаются, оставаясь иногда по пояс в холодной грязной воде...

Но спекулянт не имеет права обращать внимания на такие «пустяки». Подумаешь?!. Не станут же они нежиться: ой, мне страшно... Упали, — так встают и бегут дальше, хотя невероятно тяжело вытащить ногу из липкой грязи. Но им, повидимому, все это совершенно нипочем. И тащат они свои тяжелые, в несколько пудов, мешки точно какую-то безделушку. Файвка с девками даже притоптывают при этом каблуками, словно пускаются в плясовую.

И теперь только ясно видно, что Пантелю больше, чем кому-либо иному, нужна была «невеста». Если бы не Нача, то кто бы согласился взять хоть что-нибудь из его товаров и прогуляться с этим семь-восемь верст по такой тяжелой дороге? Он с Менделем должны остаться на подводе — не оставить же ему лошадей и подводы на произвол судьбы!.. Кто их покараулит — старый Шайка? Да ведь его самого надо караулить, не то его могут в один прекрасный день украсть...

И он без всяких церемоний берет два тяжелых узла, связывает их вместе и перебрасывает Наче через плечо. Та, со своей стороны, тоже без всяких разговоров подставляет плечи, выпрямляется и пускается в путь вместе с остальными спекулянтами. И шагает, глазом не моргнув, и не кривится в гримасе, когда сырость, тронув пятки, поднимается все выше и выше, до самых колен.

ГЛАВА XVI

На ту сторону сторожевого поста, в предместье Варшавы, сходятся все пекаря Мойши. Он закупает у них всю муку и помогает им также сбыть зерно.

Там, в этой пекарне, едва переведя дух, спекулянты бросаются на пол у открытой печи, от которой пышет невероятным жаром. Мигом одежда высушивается до последней ниточки, — и тогда приходит какая-то бесконечная усталость и приятная, сладкая истома... Они глядят на огонь и видят огненные языки, которые прыгают торопливо и беспокойно, рвутся, трещат, обхватывают, щиплют и проглатывают поленья... И там, где только что было полено, теперь уже пляшут огненные языки.

Светлее становится в глазах, легче на сердце. Они глядят в окна, где уже брезжит голубоватый рассвет. Тепло и радостно становится на душе, и все поднимаются с мест: польские парни и девушки становятся на колени в углу, еврейская молодежь начинает кружиться взад и вперед по комнате, словно молясь... И только Шайка с Берелем берут у хозяина молитвенные принадлежности, — и понеслась горячая молитва к богу...

Пантель уже поджидал их в каретке. У сторожевого поста он, правда, немало страху набрался, но в конце концов все сошло благополучно. Они, правда, сердито кричали на своем языке; высылали на дорогу отряд... «Не иначе, как спекулянты находятся где-то на дороге», — говорили они. Но скоро отряд вернулся с пустыми руками: они никого не нашли, ни живой души...

Немцам это показалось подозрительным:

«С такими ничтожными запасами стоит ли ездить в Варшаву? Они нас околпачили — не иначе!..».

И они с дикой злобой бросились к подводе и все, что они нашли там с'естного, сбросили в одну кучу для реквизиции.

Просится у них Пантель:

— Пожалуйста, не забирайте этих товаров: ведь столько разрешается возить!

А старый Шайка, который славится в местечке своим умением говорить по-немецки, переводит свой еврейский язык на немецкий лад:

— Grosser Herr Wachmeister! Великий господин вахмистр! Да имеет он сострадание к старому человеку! Да имеет он сострадание!

Немцы ничего не отвечают. Они только начинают тараторить между собой и при этом так стремительно шевелят губами, что ни слова нельзя понять из их речи: настоящий «кошачий концерт»...

Удивительно только, как это они сами понимают друг друга.

В конце концов в подводе не оказывается ничего запретного, кроме какого-то десятифунтового мешечка... И Пантель погнал лошадей с такой радостью, как будто его постигла необыкновенная удача... и остановился он только тогда, когда под'ехал к дому булочника Мойши.

Вся компания уже распродала свой товар, а у Пантеля голова идет кругом: продать или не продать?.. С одной стороны, он получает здесь хорошую цену — на всякий товар пятью рублями дороже, чем там, в заезжем дворе, — и деньги сейчас же, наличными! Но, с другой стороны, какие-то опасения гложут его... Извозчик Пантель чего-то боится...

Менделю досадно, что отец не хочет продавать, и он начинает попрекать его:

— Лучше бы эти пятерки мне достались!.. Продай!

А Нача прибавляет:

— Для чего пану ждать? Продай и баста!

И он думает про себя:

«Разрази его первая молния!..».

Он идет к булочнику и продает ему всю муку. Зерно он тоже сбывает тут же неподалеку. Теперь ему уже не хочется заглянуть в заезжий дом; но ведь ему следует немного денег от Бритоголового; помимо того ему надо нагрузить подводу скобяным товаром, который один торговец хочет переслать через него в местечко.

Все садятся в подводу довольные и едут с веселыми песнями. Каждый прячет свои деньги подальше, а старшие держат их просто в карманах верхней одежды.

Перед воротами заезжего дома Мендель слезает с козел, берет лошадей за узду и тянет их через канаву, которая в этом месте гораздо выше уровня улицы.

Но едва он вступает во двор, как вдруг получает такую оглушительную пощечину, что щека его немедленно алеет. Он хочет оглянуться, узнать, в чем тут дело, и получает вторую такую же пощечину. У него темнеет в глазах, и он падает навзничь.

А Пантель уж очутился на земле и хочет взяться за Бритоголового, но вдруг получает такую же звонкую пощечину, как его сын. Хотя Пантель вдвое меньше своего противника, но он уже размахивает кулаками и рычит, как волк. Он мечет удар за ударом и не глядит даже, куда попадают его кулаки; чем дальше, тем больше разгорается в нем буйное пламя, и чувствуется, что Пантель вырастает в это время во весь

рост: мускулы твердеют, как сталь, и жилы натягиваются, как проволока, готовые лопнуть от напряжения.

Видел ли кто когда-нибудь, как Пантель дерется? Та драка, что была в синагоге, — ведь это сущие пустяки: там ведь были простые евреи. Когда он колотит Урку, это тоже плевое дело... Но теперь, когда стоишь в сторонке и глядишь на этого коренастого человека с короткими, но крепкими руками и ногами, то представляется, будто это медведь, который стал на задние лапы, а передними собирается разнести и разметать все, что ему ни встретится на пути.

Но у Бритоголового, у которого теряется грань между черепной крышкой и затылком, побагровела вся шея вплоть до лоснящейся лысины на макушке, торчащей из-за воротника его короткого полушубка. Он не размахивает кулаками, куда попало, лишь бы ударить... это — вышколенный шельма. Он замахивается всей поверхностью ладони, сыплет удары не так часто, как его противник, а наоборот — бьет медленно, но уверенно: следит за каждым движением кулаков Пантеля, чтобы во-время подставить локоть или руку, а когда сам готовит удар, старается, чтобы он попал в намеченную цель. И удары его отдаются в воздухе глухим металлическим звоном.

Таков Бритоголовый, и вот как он умеет драться!

Снова вмешались пассажиры. Но Пантель, весь в крови, с огромной шишкой на лбу, был так погружен в свою работу, что и слышать не хотел о прекращении драки; а может быть, он и в самом деле ничего не слышал. Лишь тогда, когда его насильно оторвали от противника, и он увидал своего полумертвого сына на руках девушек и парней, он сперва отряхнулся, как лошадь, затем снова рванулся к врагу, лоснящаяся голова которого сверху донизу была усеяна

шишками в неменьшем количестве, чем у Пантеля, и такими большими, как картошки.

Бритоголовый кричал:

— Пускай у него все жилы сгниют! Он мне станет продавать товары в «Охоте»? Да чтоб он сгорел!..

Но Пантель уже был возле сына и сейчас же повел его к фельдшеру.

Фельдшер, исследовав больного, велел немедленно уложить его в постель и прикладывать лед к голове, заявляя, что опасается, как бы у больного не оказалось воспаление мозга.

Но легко сказать — положить в постель! А где? У кого? Кто это предоставит здесь Пантелю постель? Кого он здесь в Варшаве знает?

И вот он решил поэтому хорошенько устлать подводу соломой и одеялами, положить туда сына и отвезти домой.

Но фельдшер строго-настрого запретил это делать:

— Подумайте только, — говорил он, — сколько крови уж вышло из него! А во время тряски в подводе рана может снова открыться, и может случиться тогда, что не довезти его живым домой...

Пантель испугался. Но что же делать? Нельзя же оставаться здесь во дворе!

Он изливает всю горечь своего сердца перед «невестой», и она дает хороший совет:

— В чем дело? Нельзя разве положить его в нашей комнате? Разве туда теперь кто-нибудь приходит? А кроватей там целых три.

Слышат это ее подруги и прибавляют от себя:

— Так, так. Другого исхода нет.

И надо правду сказать — лучшего выхода из положения нельзя было и придумать.

Наняли извозчика, бросили в пролетку все пальто и платки и осторожно положили Менделя. Когда его перетаскивали, он приоткрыл было глаза; но он и теперь ничего не видел и не сознавал. Видно было по всему: парень кончается и тает, как свеча.

Положили больного в постель и послали за врачом. Тот прописал лекарство и распорядился, чтобы кроме этих лекарств больному ничего не давали. Он тоже велел прикладывать лед к голове.

Пантель — надо сознаться — не понял, что означает эта стеклянная трубочка, которую доктор сунул Менделю подмышку. Поэтому он сказал:

— К чему это? Лучше поставить ему несколько банок, натереть его скипидаром, чтобы он пропотел, — и больше ничего!

Но когда Мендель начал бредить, Пантель уж не на шутку испугался.

Он на цыпочках подошел к больному, поглядел, как лицо его то краснеет, то чернеет, то желтеет — меняется в цвете каждую минуту.

Тогда, прислонившись к спинке кровати, он стал еще пристальнее всматриваться в лицо сына. Казалось, что на этом лице запечатлелась какая-то жалоба, какой-то немой укор...

И Пантель отвернулся.

ГЛАВА XVII

Пантель раскаивался, что ночью толкнул Менделя, когда потребовал, чтобы сын взял в руки вожжи, а он, Пантель, тем временем приляжет в каретке и вздремнет слегка.

А разве он может пожаловаться на своего сына? Разве тот не работал достаточно для своего возраста?

А что получает взамен за тяжкий труд свой? Истратит кой-куда несколько марок на то, на се. Ну, так что же? Ведь и у него есть свои потребности. Разве у него с сыном такие отношения, как у других родителей со своими детьми, которые только и норовят урвать что-нибудь для себя?

И тоскливо становится на душе у Пантеля, когда он сравнивает своего сына с другими детьми. Не только извозчичьи, но даже «хозяйские» дети, принявшиеся за спекуляцию, обычно прячут заработанные деньги для себя. Между родными, преданными друг другу братьями установились такие отношения, что «мое — мое, а твое — твое». У иных родители могут хоть треснуть, а дети не отдадут им своего заработка на руки...

А у него? Разве Менделю приходила когда-нибудь в голову такая мысль — забрать себе заработанные деньги. Нужно ему несколько марок, — так он берет. А не зарабатывай он даже ни гроша и скажи только мне: «Папа, мне нужны деньги», — так разве я ему не дам, если только есть? А если ему нужен новый костюм? или ботинки? или то, или другое, или вообще карманные деньги, — так я разве откажу?.. Но чтобы самому брать?..

И погруженный в такие мысли, он вдруг испытывает какое-то особенное уважение к своему сыну, соединенное с горделивым сознанием: «Вот у Пантеля дитя, так это поистине святое дитя!..».

И разве Пантель не был прав, когда он прошлым вечером думал о том, что теперь свет уже не тот, каким был когда-то?

Взять хотя бы Береля, у которого душа в пятки уходит с тех пор, как он стал спекулянтом, — ведь он даже и усом не поведет, когда на его глазах парни пошаливают с девками. Что ему до этого?.. То же и

старый Шайка... Или взять хотя бы такого почтенного еврея, как реб Юдель, — разве он не посылает своей дочери к вахмистру?

А он, Пантель, — разве у него есть — избави боже — какое-либо основание стесняться своим извозчичьим промыслом или стыдиться своего Менделя?..

Но что тут делать? Парень ведь ворочает языком так, что одно слово с другим не вяжется...

И снова приходит ему в голову:

— Парень не на шутку заболел... А тут надвигается ночь — пора ехать домой.

— Что тут делать? — спрашивает он у Начи. — Оставить одного? Разве можно? Ведь он, как птичка, испустит дух.

Последние слова Пантель произносит таким голосом, что у всех присутствующих спазмы подступали к горлу и глаза становятся влажными. Они глядят на Пантеля с чувством глубокого сострадания, и кажется, что вот-вот они разразятся рыданиями.

Но Пантель тихо произносит:

— Лучше бы у меня отобрали весь «шмугель» — тогда ведь не дошло бы до этого...

Тогда Нача едва касается его плеча, совершенно так, как это делается у людей более благородного воспитания, и говорит:

— Мендель болен, очень болен. Всем надо возвращаться домой. Но Мендель не может же оставаться один. Я с ним останусь.

И всем это кажется вполне естественным — именно так, а не иначе это должно быть. Пантель оставляет ей деньги и поручает заботиться обо всем: чтобы доктор приходил, чтобы фельдшер постоянно навещал, чтобы больной ни в чем не нуждался и чтобы она не смела жалеть деньги...

Затем все, кроме Начи, удаляются.

Печальный и задумчивый сидит Пантель на козлах. Он уже раскаивается, почему он продал товар другому...

«Пропало! — думает он про себя. — У нас в городе мое слово — слово, и все должны мне повиноваться; но здесь «он» имеет право командовать...»

И при одной мысли об этом «он» — он испытывает ломоту в костях. Лицо и руки что-то колет, словно пчелиный рой напал на него. Он снова затихает. Его собственные боли не трогают его ни на иоту. Но перед глазами все еще неотвязно стоит образ сына его — Менделя, которого он оставил теперь больного в чужом городе, в чужом доме...

«Да, теперь уж Урке придется раз'езжать вместо Менделя. Ездить одному ведь не годится. Разом остался он и без сына и без «невесты».

Пантель испытывает при этом чувство бесконечной благодарности к девушке: кто другой согласился бы остаться? Теперь столько «поездок»... И он решает про себя, что с сегодняшнего дня он станет настоящим отцом — даже Урку и то перестанет колотить...

В корчме после нескольких рюмок водки Пантель как-то приободрился, и ему стало несколько легче на душе. До самого дома он думал только об одном:

«Откуда это Бритоголовый мог так быстро узнать, что я продал товар в «Охоте»?».

Лишь некоторое время спустя он узнал этот простой секрет: тот имел своего постоянного соглядатая в «Охоте», и тот следил за всеми подводами, останавливавшимися в заезжем дворе. Он-то и телефонировал Бритоголовому обо всем: кто сколько продает.

Но пока Пантель ломал себе голову и никак не мог сообразить, в чем тут дело. Он стал перебирать

в уме всех еврейских и польских молодых людей и всех полек, что ездили с ним: может быть, это они доносят?

Но ни один из них, казалось, не подходил для такой роли, потому что среди спекулянтов, что о них ни говори, доносчиков во всяком случае нет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Белокурая девушка не отступала ни на шаг от кровати Менделя. Ей иногда надо было сойти вниз — купить что-нибудь, но она боялась оставить его одного. Лишь тогда, когда Мендель бывало вздремнет, она набрасывала на себя накидку, выходила на цыпочках, тихо закрывала за собою дверь и потом, наскоро закупив в лавочках все, что ей нужно было, быстро возвращалась обратно.

Вначале на нее произвела известное впечатление эта комната, в которой она «прожила» почти год; пребывание в этой комнате наедине с больным человеком также оказало известное влияние на ее впечатлительную душу. Ей вспоминалась ее покойная мать, когда она, больная, лежала в больнице.

Нача и тогда еще трепетала от страха, когда ей разрешали оставаться ночью в палате с матерью... а ведь там, кроме матери, было немало людей: одних больных было в той же палате человек десять, кроме прислуги.

Эти мысли так взбудоражили ее, что она сидела около больного в беспрестанном страхе и не осмеливалась даже наклонить голову.

А больной глядел такими страшными глазами и говорил какие-то настолько непонятные и странные слова,

что они казались ей страшными и чудовищными. Эти слова поражали ее не только своей бессвязностью и тем странным звучанием, которые свойственны всем горячечным больным. Нет, самые эти слова, произносимые им на непонятном для нее языке — по-еврейски — пугали ее.

Первое время он не умолкал ни на минуту, все говорил да говорил без конца. Некоторые слова она кое-как все же понимала, потому что в кругу тех понятий, которые вращались вокруг «шмугеля», она уже почти умела из'ясняться по-еврейски.

Он говорил о сторожевых постах, о муке, об отце и матери, обо всех спекулянтах.

Однажды ему, повидимому, показалось тогда, что он сидит с товарищами у Эли в трактире — он воскликнул:

— Берче! Поглядел бы ты на этих девчонок! Золото, я тебе говорю!..

А затем, словно обращаясь к Юрику:

— Слышишь, братец! Говорю я тебе — вот девка так девка, эта Нач...

Потом он начинает путаться в речах: половину — по-польски, половину — по-еврейски... и одно слово с другим не вяжется. И вдруг ему захотелось подняться:

— Урку мне надо поколотить...

Тогда она вступает с ним в борьбу. И когда она наклоняется поднять пузырь со льдом, чтобы снова положить его ему на голову, — она вдруг встречается с его взглядом и, перепуганная на-смерть, бежит к столу с криком:

— Ах, боже милый!

А Мендель уже на полу, ощупывает стены, ищет и, не найдя никого, вдруг начинает бегать по комнате со скрюченными пальцами и воспламененным лицом;

и глаза его отливают такой светлой желтизной, словно желтый лист золотится на солнце... Наткнувшись на Начу, он изо всей силы обхватывает ее, тащит и рвет, и мечет во все стороны, и таким жаром пышет от него, что у нее дыхание захватывает...

А он неумолчно кричит:

— Где Урка? Где?

И снова бегает по комнате и снова возвращается к кровати и кричит — на этот раз уж совсем иным голосом:

— Немцы идут! Немцы! Хватайте мешки! Ну, живей!..

И все ее тело трепещет от ужаса при этих криках, потому что голос его как будто исходит из могильной глубины: такой он низкий и такой пронизывающий в то же время.

И в ней пробуждается чувство жалости, чувство бесконечной жалости... Она обнимает его, и руки ее тотчас же становятся влажными, и она плачет, рыдает и умоляет его:

— Мендель! Цо ты мувишь? (что ты говоришь?) Иди, ну иди же в кровать — ты ведь болен! О, Иезус коханый!..

Он глядит на нее, словно понимает что-то в ее словах, понемногу опускает голову на подушку и говорит как ребенок:

— Мне холодно.

И она чувствует, как он все больше и больше холодеет. Ужас овладевает ею. Она укладывает его в кровать и хорошенько закутывает одеялами. Поверх одеял она набрасывает еще его куртку, брюки, полушубок и все, все, что, по ее мнению, может придать ему теплоту.

Он оборачивается к стене, лежит так несколько секунд и снова поворачивается.

Нача глядит на него и не знает, что ей делать. Ей во что бы то ни стало хочется пойти за фельдшером; она видит, как у него зуб на зуб не попадает. Вдруг он начинает рвать с себя одеяла: ему уж снова жарко.

Стоит она, и слезы текут у нее из глаз. Но оставить его и уйти она боится. Нет, она не оставит его одного!..

Мало-по-малу он успокаивается и лежит тихо, неподвижно, глядя в окно.

Тогда она разводит огонь в печке, большой огонь. И от этого пламени и от теплоты, разливающейся по комнате, ей становится как-то уютнее и легче на душе.

Она жует кусок хлеба и снова садится около больного. Но теперь она уж не трепещет так, как прежде. Какую-то уверенность приобретает она, полную уверенность, что Мендель в конце концов выздоровеет...

Но когда пришел фельдшер и, измерив температуру больного, убедился, что у него температура свыше сорока градусов, он велел ей как можно скорее пригласить врача.

Нача выбежала, попросила одного из детей сторожа сбегать за врачом, а сама вернулась обратно в комнату, стала у окна и не отходила до тех пор, пока не явился доктор.

Доктор сразу узнал, что тут произошло что-то неладное. Когда она рассказала ему, что больной сошел с постели и голый бегал по комнате, доктор сильно разозлился.

Он строго-настрого приказал, чтоб подобное не повторялось... Затем он прописал новое лекарство и распорядился, чтобы при каждом приеме лекарства больной запивал тепловатым чаем или баварским настоем, —

не больше. Он приказал ей также аккуратно следить за тем, чтобы лед все время лежал на голове.

Доктор ушел, и она снова осталась одна-одинешенька с больным. Она придвинула стул к кровати больного и уселась на нем с твердым решением — просидеть так с ним всю ночь, до самого утра.

Ночь была неспокойная.

Мендель все время метался в кровати, как человек, которым овладел страшный приступ лихорадки. При этом он так неистовствовал и кричал, что ей несколько раз хотелось выбежать на улицу и поднять тревогу, чтобы люди сбежались...

Но каждый раз, когда она собиралась это сделать, он как-то успокаивался, некоторое время лежал тихо и неподвижно.

Затем он начал потеть, и от него пахнуло таким жаром, что она вынуждена была отодвинуть стул...

Потом снова озноб и снова жар... И так — всю ночь напролет.

ГЛАВА II

Кризис миновал. Мендель открывает глаза, в которых сразу исчезло то дикое выражение и тот желтый отблеск, которые отпечатлелись в них с самого начала его болезни.

Теперь он испытывает странную головную боль — что-то болит и ноет у него в затылке. Ему представляется, будто голову его сдавливают железными клещами, и ему кажется, что вот-вот голова его треснет пополам. Ему хочется поднять руку, посмотреть, что там такое, вырвать голову из клещей, но он шевелит только пальцами, а рука, которую он, было, чуть-чуть приподнял, бессильно падает обратно, и он закрывает глаза.

Вдруг он чувствует какую-то необычайную легкость, словно чем-то очень мягким и приятным гладят его по лицу. И ему представляется, будто кто-то легко-легко берет его за руку.

Он снова открывает глаза и видит перед собой Начу; она так низко нагибается к нему, что ее дыхание бьет ему прямо в лицо. Он недоумевает, что здесь такое и где он находится, и удивленно спрашивает:

— Почему же здесь еще две кровати? Где я? И что здесь такое?

Но тут он начинает соображать, что он, вероятно, нездоров: он чувствует, что он очень-очень ослабел.

Он хочет привстать, но члены не повинуются ему. И он думает про себя:

«Огонь бы меня пожрал!.. Что это со мной?».

Понемногу начинает он припоминать, что произошло с ним — не то вчера, не то сегодня — на заезжем дворе.

И он спрашивает:

— Нача! Где отец?

— Отец дома, — отвечает она.

— Поехал?

— Поехал.

И снова начинает припоминать: «Бритоголовый в'ехал мне всей пятерней, и я упал...». И снова обращается к ней:

— Я болен?

— Болен.

— Очень?

— Очень.

Так она каждый раз отвечает ему его же словами. Затем она начинает с нежной легкостью гладить его рукой по лбу.

Вдруг она вспоминает распоряжение доктора, берет ложечку чаю и подносит ему прямо ко рту.

Парню становится как-то совестно и стыдно.

«Что значит — прямо в рот? Кто я — дитя в люльке, что ли?..»

Он хочет сам взять ложку в руки, но чай проливается на одеяло.

Нача сердится:

— Лежи спокойно!

А он думает:

«Го-го! Я значит, как видно, болен совсем не на шутку?! Го-го...».

Тогда он начинает пить из ее руки, а затем спрашивает, чья это комната. Она отвечает, что это ее комната. Он спрашивает, где Стефка и Сташа.

Видит она, что он так ясно и с полным сознанием произносит все слова, — и глядит ему в глаза, и огромная светлая радость сияет на ее лице:

«Боже! Боже!».

Она начинает прыгать по комнате, пляшет и делает всевозможные телодвижения. Он преследует ее глазами — направо, налево, туда и сюда.

Он что-то спрашивает, и она подходит к его кровати и начинает рассказывать, что произошло с того дня по сегодняшний. Две недели он пролежал так в горячке — целых две недели!

Ему не верится:

«Две недели?!».

Она рассказывает все, что он лепетал в бреду в течение этих двух недель, а он все еще думает, что она хочет его обмануть.

«Две недели? Неужто две недели?..»

Он поднимает руки и ощупывает бинты вокруг всей головы до самых глаз...

«Венская холера уж возьмет тебя, — думает он, — дай мне только сойти с постели!..»

Но он быстро забывает об этом и глядит на девушку, которая стоит возле него и говорит беспрестанно и торопливо:

— Ах, Иезу, — лепечет она, — ты уже здоров... был уже кризис... а я думала, что ты все еще бредишь!.. «Где мой отец?..» — «Отец дома»... «Поехал?» — «Поехал!»... Эх, кабы теперь отец твой приехал!..

Мало-по-малу восстанавливаются силы Менделя. Он уже сидит в кровати и забрасывает отца вопросами: что слышно в местечке? и что слышно у них дома? как поживает мама? и сходит ли благополучно?

И при каждом его слове ему делают знак руками, чтобы он не слишком много говорил, а отец сам рассказывает ему подробно обо всем.

— Мама здорова, — говорит он, — и теперь уже со мной каждый раз едет Урка: он будет молодцом! А у Янкеля этой ночью отобрали шесть пудов. Он хотел сопротивляться, так у него арестовали всю подводу вместе с лошадьми, и он уж хочет дать двести марок, чтобы его отпустили по-добру, по-здорову... И от Пелты пришло известие: пишет, что он здоров и надеется скоро в самом близком будущем со всеми увидеться... А Гройнем прошлой ночью подрался с Файвкой — чуть не на-смерть... А жена Гройнема уж тоже едет с ним вместе. «К чему тебе чужие девки? — убеждает она его.— Я сама буду твоей девкой...» А насчет этой истории с Гурчицкими из Воли — так его, Пантеля чуть не притянули к этому делу... Когда он тогда только что возвратился домой, а его, Менделя, оставил в Варшаве — так разве его не позвали сейчас же к жандармам?.. А те запирают за ним дверь и начинают угрожать: «Мы тебя, — говорят они, — до смерти изобьем.

Ты должен сказать нам, где Динстман...». Динстман, понимаешь ли, и был тот самый немец... Одним словом, я твердил все одно: я ничего не знаю; моего сына исколотили в Варшаве. Пока они меня отпустили. А Юделя-самогонщика снова накрыли... — рассказывает он со злорадством.

Таким образом Мендель осведомился обо всем, что делается в местечке.

Пантель подтвердил также, что целых две недели Мендель лежал в горячке, и если бы не Нача, кто знает, что бы с ним сталось.

Мендель проникается каким-то странным, неведомым ему чувством благодарности к этой девушке, и в его глазах она представляется теперь столь же прекрасной, как ангел, и он сам не отдает себе ясного отчета в этом, но чувствует, что когда он глядит на нее, ему становится гораздо легче и светлее на душе...

А она все возится по хозяйству: глядь туда, глядь сюда:

— Мендель, может, немножко рассолу? может, рыбки?

Он улыбается и просит подать себе и то и другое. И она улыбается окружающим.

А Пантель видит по лицу Начи, что она чувствует себя очень плохо, и приказывает ей прилечь, потому что она ведь так долго уж не спала как следует. А может быть, она совсем уедет «домой»? А сюда, к Менделю, приедет другая.

Она спрашивает, кто же это приедет сюда. Он отвечает, что Ривча, дочь его сестры, которую сватают Менделю, хочет приехать сюда.

Она умолкает, но спустя две-три минуты снова спрашивает:

— А будет ли она знать, как за ним ухаживать? Он ведь еще очень слаб...

А Менделя охватывает тоска. Он еще сам не отдает себе отчета, почему, но ясно чувствует — другой он не хочет. И он обращается к отцу:

— Отец! Я ведь всего-то пролежу еще два-три дня. К чему это беспокойство?

— Ну что ж? — отвечает отец. — Все равно, пусть будет по-твоему.

Иногда приходят проведать его «коллеги», дарят ему апельсины. Один только Юрек приносит бутылку вина и подает его Наче.

— Бутылка вина, — говорит он. — Ты тоже можешь пить... Я сам купил...

При этом смотрит на нее такими странными глазами.

И ей больно и обидно такое отношение с его стороны, страшно обидно...

«И как ему в такое время может в голову прийти нечто подобное?»

И ей представляется, что эта комната сделалась совершенно иной с тех пор, как Мендель лежит здесь больной... как будто бы эта комната стала «святой»... и она тоже... И слова Юрека она воспринимает как нечто греховное... как глубокое оскорбление... как невероятную грубость...

И она хочет вернуть ему обратно эту бутылку вина, но тот берет ее, вручает Менделю и вдруг совсем садится возле него, на кровати.

А раз ночью был и такой случай: в комнате светло, горит лампочка — и там снизу, во дворе, видно через окно, что в комнате горит свет. И вот однажды — это было уж, наверное, часа в два ночи — пришел кто-то и постучал в дверь. На ее вопрос — «кто там?» — последовал ответ — такой же, как когда-то:

— К паненкам...

Мендель лежал тогда в страшной горячке. Он глядел на нее своими светло-желтыми глазами, и брови его в это время были совершенно неподвижны.

И представилось ей тогда, что она читает в этих глазах глубокий укор, словно он обижен тем, что теперь, когда он так болен, она все еще продолжает заниматься такими делами... И ей стало так стыдно, так стыдно... Она ведь хорошо знала, что в его взоре нет ничего сознательного — и все же... все же она не могла вынести этого взгляда...

С той поры какие-то новые мысли зашевелились в голове Начи, новые чувства и переживания, дотоле чуждые и неведомые ей. Она, повторявшая на каждом шагу «дженки богу»*, — она вдруг почувствовала стыд: ей стало стыдно за себя самое, когда она услышала этот прежний стук в дверь...

В ее воображении вдруг всплыли разные мелочи и незначительные случаи в ее жизни. Но от этих «мелочей» у нее вдруг наступило просветление в глазах, в голове и в сердце, словно яркое, светлое солнышко обдало ее своими лучами...

Больной прерывает ход ее мыслей. Он делает какое-то движение губами... Тогда она вливает ему в рот ложечку чаю, потом другую, третью, пока он не устает. Тогда она ставит обратно стакан и садится возле него на краю кровати.

Легкая улыбка витает на ее губах, воздушно-легкая, как птичка.

И она снова погружается в свои мысли.

Помнит она: вот ее отец, высокий мужик в коричневом костюме; вот мать — низкая, полная, с красивыми

---

* Спасибо богу, слава богу.

светлыми волосами, — больше ничего, никаких других впечатлений не осталось... Приходит однажды отец домой, — должно быть, это было в воскресенье — наверное хватил немножко водки или пива... И входит он в дом такой веселый-превеселый, сбрасывает шапку и обнимает жену:

— Матка! — так он всегда называл ее, когда был в хорошем настроении. — Матка! А ведь Стефанова родила сына — слышишь? Мальчик — здоровенный! Ха-ха-ха...

И так весь вечер: «матка да матка»... Пока они не легли спать и не погасили света, — и даже после этого еще...

А мать: вот она лежит на столе, одетая в белое платье... вокруг нее — восковые свечи... Ее укладывают в гроб... забивают крышку... Далекий путь был до кладбища... длинный путь...

Но даже теперь улыбка все еще не сходит с ее лица... но она становится углубленнее... и еще легче.

ГЛАВА III

Мендель встал наконец с постели. Пытается сделать шаг, но уже при втором шаге вынужден опереться на Начу.

А она с усмешкой говорит ему:

— Видишь, ты ведь силач, а я вот могла бы тебя поколотить.

— Ну что ж? Колоти! — говорит он.

И ему бы хотелось, чтобы она его била. Он чувствует, как силы его все прибывают. С каждой минутой ему становится все лучше. И он, распростерши руки, вдруг обнимает ее и поднимает вверх.

Она вырывается, прыгает на пол и грозит ему пальцем.

— Пошли!..

И прибавляет с чувством удивления:

— Однакож ты сильный!

Они усаживаются рядом и заводят разговор на старую тему: рассказывают разные истории из спекулянтской жизни и смеются над отдельными подробностями.

Но внутри, в глубоких тайниках души, шевелится что-то другое. Какие-то таинственные ткани ткутся там, в глубинах душевных — ткутся тихо и неслышно днем и ночью, во сне и наяву... Но никто из них не знает этого; никто этого не понимает. Они знают лишь, что они любят глядеть друг на друга, и у обоих одна и та же мысль: когда уж он окончательно выздоровеет? О, как они будут тогда бегать вместе и шалить!..

Несколько дней спустя Мендель чувствует себя совсем уж хорошо. Они выходят из дому.

Прекрасный зимний день. Выходят они на Железную улицу, и Мендель озирается во все стороны, и все кажется ему каким-то новым, необычным. Лавки, улицы, покрытые снегом мостовые — все-все приобретает в его глазах какой-то новый облик.

Видит он, что мальчишки играют в снежки, и носики у них такие красные, — и весело смеясь, он обращается к Наче:

— Видишь, Нача! Это очень здорово!..

Им навстречу идет какая-то толстая полька с задранным вверх носом. Она напоминает ему Матееху, любовницу Файвки. И он снова обращается к Наче:

— Она непохожа на Матееху?

— В самом деле, в самом деле! — отвечает она с живостью.

И ему доставляет удовольствие, что он мог так хорошо подметить...

За несколько домов от заезжего двора он останавливается... Войти во двор ему не хочется... совершенно не хочется... Но какая-то непреодолимая сила тянет его посмотреть хотя бы этот двор, эти камни, эти подводы — пускай будут чужие... И он не может устоять против искушения... Они переходят на противоположный тротуар и, когда проходят мимо заезжего двора, он не спускает с него глаз. Видит он повозки с отверстиями в стенках: это — сохачевские, а другие — с крышками и окошечками: это — калишские и радомские омнибусы...

— О, о, — втягивает он воздух полной грудью, — ну, завтра уж едем домой!

И ему страшно хотелось бы войти во двор: прикоснуться к повозке, потрогать лошадей, посмотреть, нет ли кого из их города. Но Бритоголовый у него из головы не выходит. И он думает:

«Чтоб его уж венская холера задушила!.. Чтоб у него все внутренности сгорели!..».

На углу, когда они собираются повернуть на другую улицу, они видят ручную тележку, наполненную картошкой. В тележку впряжен парень в пиджаке, который едва ему до пояса, а через брюки его просвечивает голое тело.

Возле тележки стоит еврей солидного возраста, в суконной шапке. Еврей что-то говорит парню, но слова его не доходят до них. Они слышат лишь голос парня, который дважды отвечает:

— Я дальше не поеду! Не поеду!

Еврей озирается, словно ища кого-то, и, заметив вдали, на расстоянии нескольких домов от него, одного

человека в коротком полушубке, в меховой шапке и желтых сапогах, он знаками подзывает его к себе:

— Видишь, Лейбиш, — обращается он к нему, — я нанял эту тележку, чтобы привезти мне картошку, а он остановился и не хочет дальше двинуться с места.

Лейбиш сейчас же принимается за этого парня:

— Это что такое? а? Почему ты не едешь?

— А зачем ему меня обманывать? Он говорил — дом номер тридцать восемь, а в конце концов оказывается — пятьдесят восемь — а? Это совсем на другом конце улицы.

— Поезжай! — кричит Лейбиш.

Парень все еще не двигается.

— Ты знаешь, кто я такой? — кричит снова Лейбиш. — Здесь, начиная с этого угла, все должны меня слушаться — понимаешь?..

— Так не надо было ему обманывать, — настаивает парень на своем.

— Матэш! Пойди-ка сюда!

И когда подходит Матэш, стоящий на углу тоже с тележкой, Лейбиш снимает вожжу с первого парня и надевает ее на Матэша.

— Ну, теперь уж поедешь!

А тот стоит безмолвно, как немой, и Лейбиш ударяет его по лицу всей пятерней:

— На тебе вожжу!..

И он снимает веревку с плеча Матэша и снова запрягает в тележку первого парня:

— Знаешь ли ты, кто этот еврей? Его ты не хочешь везти? Что ты думаешь — он будет торговаться из-за нескольких пфеннигов?

Парень закашлялся, замигал красными, воспаленными глазами. Он все еще стоит, не произнося ни слова.

— Слы-ши-те, реб Менаше? Чтобы вы ему ни гроша не заплатили! Я уж с ним рассчитаюсь! Слышите?

Затем обращается к парню:

— Теперь уж ты знаешь, кто это такой? Реб Менаше, которого все талмуд-торы* знают! Подойди-ка к номеру тридцать восемь и спроси, кто такой реб Менаше. Что ты думаешь? Он остановится из-за твоей полмарки?

Так говорит он, этот Лейбиш, который чувствует себя немного виноватым перед этим парнем... Хоть бы тот ему что-нибудь ответил... выругался бы... или так как-нибудь... Но так молчать? И он снова говорит:

— Реб Менаше не остановится и перед маркой. Ну, поезжай!

Глядит на него парень налитыми кровью глазами; губы у него чуть приоткрыты, но зубы крепко стиснуты. Он и теперь ничего не говорит. Он выдвигает лишь вперед верхнюю часть корпуса, подобно лошади, отталкивается ногами от мостовой, и тележка трогается с места.

Такая сцена разыгрывается перед глазами Менделя и Начи.

У Менделя разгорается желание подбежать к этому Лейбишу в тот самый момент, когда тот награждает парня пощечиной, броситься на него и бить, бить до смерти... Но он сдерживается и ждет, чем все это кончится.

Когда парень с тележкой тронулся с места, Мендель с Начей тоже двинулись дальше. В глубине души он почувствовал какую-то давящую тяжесть. Они пошли домой, и эта тяжесть все росла в груди Менделя

---

* Религиозная школа для бедных детей, содержимая за счет религиозной общины. *Прим. перевод.*

и разрослась в целую гору... Все смешалось в его голове: Лейбиш и Бритоголовый, этот парень с тележкой и он сам...

Он тоже стиснул зубы, но тяжесть все возрастала. Он не понимал, что это есть чувство униженности и покорности, которую всякий человек испытывает по отношению к более сильному, чем он.

Дома Нача подает ему кой-что поесть. Но он сидит молчаливый, глядит на стены, на Начу и вдруг заявляет:

— Завтра уж еду домой.

Она так и останавливается со сковородкой в руке и спрашивает грустно:

— Что? Чувствуешь уж себя совершенно здоровым?

— Здоров ли я? О, как лошадь!

И он вдруг поднимается с места и стоит, сам не зная, что ему с собой делать.

Когда он ест, она спрашивает его:

— Поедешь подводой?

— Нет, — отвечает он, — узкоколейкой.

И больше им не о чем говорить. Они садятся у окна и глядят на оконные стекла соседней кофейни, которые блещут и переливаются огнем. И эти огненные отблески купаются в стеклах, как будто бы эти стекла представляли собой не гладкую поверхность, а нечто глубокое, как море.

Откуда-то доносится пение — тихая, заунывная мелодия, распеваемая женским голосом.

Какая-то тишина об'емлет их. Они упираются подбородками о подоконник, и Нача тоже затягивает песню — заунывную польскую детскую песенку. Когда она поет, она берет его за руку и гладит так легко, так тихо и нежно... И он не знает, стоит ли перед ним та же Нача, что и прежде, или это какая-то новая,

неведомая ему. В ее голубых глазах, которые теперь окутаны грезами и затканы новыми, еще неизведанными сердечными тканями, в ее глазах он видит нечто такое, что производит на него впечатление, будто на него глядит простая еврейская девушка или даже дочь раввина...

Он вдруг припоминает все слова, которые, по ее рассказам, он лепетал в бреду во время болезни.

Две недели! Две недели он лежал в горячечном бреду, и она не отходила от его постели: берегла его, подавала ему лекарство, делала все с такой преданностью, как собственная мать, — может быть, еще преданнее...

И кажется ему, что она становится еще белее, еще светлее, хотя на улице уж спускаются сумерки... Он глядит на нее, и голова его опускается к ней на грудь, и он погружается в задумчивость.

Приходят ему на память те вечера и ночи, когда он ездил со «шмугелем». Пред глазами мелькают образы знакомых и незнакомых немцев, которые появляются среди мрака, отбирают, или... или...

И при одной мысли о немцах он становится неспокойным и начинает мотать головой:

— Нет... нет... Теперь об этом даже думать нельзя.

И он чувствует, как начинает болеть и ныть его черепная крышка...

«Может, она права, — думает он, — может, я и в самом деле еще болен?»

И какое-то злобное настроение овладевает им. Он бы, кажется, мог теперь обругать и выбранить весь мир...

— Мендель, — слышит он вдруг ее голос, — знаешь что? Едем, значит, завтра домой? Так давай пойдем совсем в «иллюзион».

Он испытывает радость. Да, в иллюзион. Он уж давно собирался пойти туда. Рассказывают, что там

можно видеть красивые вещи. Они одеваются; Нача подбавляет углей в печь, чтобы было тепло, когда они возвратятся.

У дверей он останавливается. Давившая его днем тяжесть окончательно улетучилась, и взамен необ'ятная радость разливается в его груди, и вместе с тем его охватывает какой-то добрый порыв... Нет... он должен во что бы то ни стало сказать ей что-нибудь!.. Она ведь дежурила у его постели две недели — целых две недели!..

— Нача! — говорит он, весь покраснев, и остальные слова он уж еле-еле лепечет. — Але ж ты добра дзивчина (а ведь ты добрая девушка).

Она думала, бог весть, что он собирается сказать! Но услышав его слова, а главное — тон, которым он их пролепетал, она, исполненная бесконечной радости, становится на цыпочки, обнимает Менделя и целует его в обе щеки.

— Мендель! а ты ж добрый хлопек!..

И оба смеются радостно и затем, взявшись под руку, отправляются на улицу.

Там беспрестанно мелькают перед глазами польские парни и девушки.

Уличные девушки узнают ее, хотят подойти, расспросить... Парни тоже чего-то хотят... Но этот чужой удерживает их...

— Она теперь гуляет со своим, — говорят они друг другу.

ГЛАВА IV

Иллюзион находится на расстоянии нескольких шагов от их переулка. Там они останавливаются возле всевозможных фотографий, развешанных по стенам.

Нача покупает в кассе два билета, и оба занимают места в большой, душной зале. Взоры Менделя так и впиваются в полотно, где демонстрируется картина, одна из тех картин, которые большей частью показываются в кинематографах этого сорта: мелькают женщины, курят папироски, сидя в трактире; внезапно входят «апаши»; они в одно мгновение схватывают женщин и кружат их в вихре танца, при чем женщины обнажают различные части своего тела.

Эти картины так влияют на посетителей, что парни начинают плотнее прижиматься к девушкам, а девушки, в свою очередь, начинают их щипать.

В воздухе, раскаленном, отравленном удушливым дыханием людей, нередко раздается звонкий поцелуй мясистых губ на толстой потной женской шее.

Мендель с Начей сидят рядом и покрываются потом, подобно другим.

Мендель весь ушел в созерцание. Он глядит на этих людей, что бегают, скачут и пляшут там, на полотне, и ему представляется, что какие-то необыкновенные чудеса проходят пред его взорами... Люди, живые люди, топчутся где-то в комнате... потом снова в саду... А теперь вот на лодках, в воде... Вот жизнь-то!

Он хочет спросить что-то у Начи, но стесняется вымолвить даже словечко: а вдруг глупость сболтнет.

«Я теперь всегда буду ходить в иллюзион», — думает он; и он сам не знает, почему, но его пальцы уж скользят по ее блузке...

А он все глядит на тех людей, что на экране, и ему хочется узнать поскорей, встретится ли еще раз здесь в саду первый «коханек» (любовник) той, что с черными волосами, с этим франтом в цилиндре.

Глядит он так, и вдруг до его уха доносятся слова, с которыми его сосед обращается к другому:

— А то кобета, пся крев! (Вот так женщина, чорт возьми!..)

Мендель оборачивается и видит, что произносивший эти слова дергает за плечи какую-то девушку, которая сидит одним рядом ниже их; а та все так же погружена в созерцание картины, и лишь руку закинула назад, ища место, за которое она могла бы схватить его и ответить щипком...

Тут Менделя обуревает необычайно веселое настроение, и ему кажется, что он сидит со своими «пшиятелями» и живет во-всю... Он тоже щиплет Начу, а она хватает его за обе руки и что-то шепчет ему на ухо, весело хохоча.

Вдруг раздается музыка, такая звонкая и оглушительная, что она, как губка, впитывает в себя все эти потные поцелуи и все эти «смелые» словечки посетителей. И от всего этого — от этой музыки, от этих фигур на экране, от этой публики — создается какое-то звучание во всех углах, смешанное с потом, похотью и пламенным огнем, охватывающим всех и все кругом...

Возвратившись домой, они ужинают, и Мендель беспрестанно говорит о виденных им картинах.

— Я только расскажу «коллегам», — так они сами начнут ходить в иллюзион!..

А она говорит, что эта картина — чепуха...

— Вот, например, посмотрел бы ты картину «Зигомар» или «Зошка Злота Рончка»*, тогда бы только ты узнал, что такое иллюзион!..

Он никак не может понять, как это у нее даже язык поворачивается сказать про такую картину, что «это —

---

* Сонька Золотая Ручка — уголовная кино-драма.
Прим. перевод.

чепуха». Как так? А этот «апаша», — как он схватил свою женщину, как он ее обнял!

И в это время он крепко обнимает девушку, и она смеется и захлебывается от восторга...

«Вот хвороба им в кости! — думает он про себя. — Вот это так молодцы! Вот это так женщины! Как сидят-то! да как стоят! да как ходят-то!..»

А она, со своей стороны, думает, глядя на него:

«Ах, Иезу! То ест хлоп!» (Вот это парень!).

Но ему она говорит только:

— Ты ведь завтра уезжаешь домой, — так тебе надо ложиться спать.

— И тебе тоже, — отвечает он и тут же начинает раздеваться.

Она убирает комнату, перемывает посуду, ставит ее на место. Затем стелет себе постель и прикручивает лампу. Сняв блузку, она стоит так с минуту, держа ее в руке.

В комнате очень тепло, и приятная теплота гладит и лелеет ее голые руки и шею. Она стоит так, вся об'ятая сладкой истомой, и чувствует непреодолимое желание поплескаться в холодной воде. Она увеличивает огонь в лампе, подходит к крану, отыскивает кусок мыла и приготовляет полотенце и цветной платок для головы.

Видит Мендель, что она моется, и ему тоже вдруг становится жарко. Он сходит с кровати, становится возле кухни, откуда так и пышет жаром, и обращается к ней:

— Слышишь! Я тоже хочу помыться.

Она оборачивается, видит его и кричит:

— На пол стал! Ты еще простудишься! Ступай в кровать!

Но он упорствует: он должен умыться во что бы то ни стало!

Ей удается добиться только, чтобы он умывался теплой водой.

Она обвязывает волосы цветным платком и наливает ему полный таз теплой воды.

Он умывается, водяные брызги доставляют ему большое наслаждение. Умывшись, он снова идет к постели.

Она стоит у стола полуобнаженная и ждет, пока он разденется, чтобы погасить свет. Он становится возле нее, и впечатления от кинематографа, раньше заполнявшие его целиком, как будто испаряются вместе с водой... Стоит он и глядит на бледно-матовый цвет ее тела, от которого веет на него влажной свежестью.

И он чувствует себя таким бодрым и свежим, после той душной, пропитанной потом атмосферы иллюзиона. И снова проносятся в его голове мысли, одолевавшие его раньше, в вечерние сумерки, когда он сидел с ней у окна.

А пламя лампочки все мерцает и мерцает. И ему становится вдруг как-то не по себе... Он стоит в рубахе, с опущенными руками, сам не зная, что ему с ними делать...

Он хочет говорить, хоть слово вымолвить, но уста не повинуются ему... А ног он не может сдвинуть с места ни на шаг...

И внезапно им овладевает такое чувство, словно он находится в доме очень богатого человека... словно бы в доме все было только из плюша: плюшевые стулья, плюшевый стол... даже ковры на полу—и те плюшевые...

И он чувствует, что ему нехорошо, очень нехорошо — он уж не в состоянии стоять на ногах, руки и ноги у него дрожат.

Она в испуге быстро подводит его к кровати, укладывает его и, не переставая, все спрашивает:

— Что с тобой? Ах, матка боска! (Матерь божья!). Как бы ты не простудился.

Он чувствует себя виноватым перед ней — почему он не слушался ее? Но когда она хочет подойти к лампе, он удерживает ее за руку.

— Посиди здесь немного, — просит он.

Она отвечает:

— Я хотела только погасить лампу.

И она стоит так в нерешительности.

— Так потуши и иди сюда!

Она подходит к столу, нагибается над лампочкой, дует — и в комнате воцаряется мрак.

ГЛАВА V

Когда стало темно, что-то вдруг мелькнуло у него перед глазами, и в это мгновение ему показалось, что он видит перед собой Берку, сына сапожника Янкеля.

Берек? Какими судьбами вдруг ни с того ни с сего выплыл в его памяти этот Берек?.. Берек — выкрест. Мендель хорошо еще помнит то время, когда он вместе с другими мальчишками бегал за этим Береком и бросал ему вдогонку камни. Но тот преследующих окидывал таким взглядом, что стоило только мальчику уловить этот взгляд, как он моментально обращался в бегство...

Берек, как сказано, был сыном сапожника Янкеля, мастера по починке обуви; и им он остался и по сей день.

Когда-то, когда он носил еще еврейское имя «Берель», он часто заходил к местному ксендзу, принося то новые ботинки простого покроя, то починенные его отцом сапоги. Случалось, что ксендз, ни с того ни

с сего, останавливался с ним на улице и беседовал, что считалось немалой честью, особенно для сына сапожника...

Беседы их вращались вначале вокруг сапожного ремесла; затем ксендз, расспрашивая об его отце и матери, перевел разговор на тему об их бедственном положении. Дошло до того, что однажды ксендз спросил его, хотел ли бы он быть богатым? У Береля глаза засверкали от радости, и он ответил утвердительно.

Тогда ксендз сказал:

— Берек! Никому ничего не говори об этом... слышишь, ни слова... даже отцу родному... Я уж постараюсь сделать что-нибудь для тебя.

И он свел его со здоровой деревенской девкой, которой досталось по наследству несколько «влок» земли, собственная избушка, две лошади и корова.

Берель был словно в оцепенении и ходил по городу задумчивый и мертвенно-бледный.

А те, кто видели его в таком состоянии, говорили:

— Вот этот сын сапожника растет идиотом!..

Но эти разговоры не огорчали его. Ведь сам ксендз беседует с ним в таком дружелюбном тоне...

Однажды в воскресный день, когда девушка приехала в костел, ксендз по окончании молитвы оставил их наедине в комнате. Она рванула его за подбородок и захохотала. Потом положила его руку к себе за пазуху и села к нему на колени...

В один прекрасный день он явился к ксендзу и сказал:

— Пане ксендз! Я хочу принять католичество.

И свадьба их произошла в самом городе... Звонили во все колокола, и ксендз, в своем белом облачении, улыбался приветливо.

Жениха с невестой повели в костел через широкую базарную площадь. Гости на свадьбу с'ехались со всех соседних имений; помещики щедро осыпали новобрачных свадебными подарками: лошадьми, упряжью, зерном, часами. И Берек стал богатым мужиком.

После свадьбы Берек редко показывался в городе — стеснялся... Но впоследствии, когда после родов жена не могла уж работать, как раньше, хозяйство его пришло в полное запустение. Он сам ведь был мало приспособлен к крестьянской работе. Починить башмак, сапог — дело другого рода. Но работать в поле, иметь дело с «сохой и бороной»?

И он стал пить запоем и с тех пор все чаще показывался в городе.

Он приходил к отцу и просиживал у него часами. Рассказывают даже, что он разговаривает с отцом по-еврейски, и однажды, когда он был сильно пьян, он клялся Иисусом, что хочет обратно перейти в иудейство...

Вот этот Берек вдруг вспоминается Менделю в ту минуту, когда Нача тушит лампу.

Почему он вдруг вспомнил его? Что у него с ним общего?

И теперь, когда она присаживается к нему на кровать, он вдруг расспрашивает, кто были ее родители и где они жили.

Она начинает рассказывать и распространяется долго о своей прежней жизни. Она была еще совсем ребенком, когда отец ее работал на фабрике. Постепенно доходит она до того момента в своей жизни, когда Стефка взяла ее к себе... Она чувствует, что этого она никак не может рассказать, что она не должна об этом рассказывать...

Затем Мендель начинает рассказывать о разных событиях из своей прежней жизни. Ему, правда, нелегко

рассказывать целые истории на польском языке, все же она хорошо понимает его, и так просидели они порядочное время, беседуя и рассказывая друг другу о своем прошлом.

В комнате очень темно. Свет, падающий через окно из других квартир или с неба — от луны и звезд, смешивается с теплым уютом комнаты, и Менделю снова становится легко и светло на душе. Он говорит, и чем дальше, тем оживленнее становится его разговор. Они уже шутят друг с другом и в шутку дерутся. Она хватает его за ухо и тянет, а он, в свою очередь, хватает ее за руку, тащит к себе под одеяло и сдавливает ее, словно прессом, у себя подмышками, так что девушке приходится прислониться к самому лицу его. Он целует ее, она — его, и он уж тянет вторую ее руку под одеяло... Она старается вырваться из его рук, поднимает голову вверх и поворачивает ее то в одну, то в другую сторону.

Менделю представляется, что он снова в кинематографе. Ему становится невыносимо жарко, и удушливый запах иллюзиона ударяет ему прямо в нос. Он чувствует вдруг, что ему становится очень душно, ему хотелось бы сбросить все, сорвать с себя даже белье.

Нача чувствует себя теперь так хорошо, как еще никогда в жизни. Что-то тянет ее, что-то влечет ее к нему, и это влечение и это самовоздержание доставляют ей одинаково неиз'яснимое наслаждение...

В ней разгорается желание подразнить немного красивого молодого парня и потом отдаться ему... Она мотает головкой, дрыгает ножками, и от собственных движений ей становится так же душно, как и ему, и ей тоже хочется сбросить с себя всю одежду...

Она касается губами его щек, слегка кусает... Маленький укус маленьких, остреньких зубов, который

почти не делает больно, но возбуждает и раздражает больше, чем самая сильная боль...

Тут молодой парень приходит почти в бешенство. Он вдруг поднимает ее на руках так быстро, с такой легкостью, чувствуя в себе невероятный приток сил, и от избытка сил он становится как-то немощен и бессилен...

А она вскрикивает от боли — ей кажется, что он ей руки переломал... Но она скоро притихла и уж больше ничего не чувствовала, кроме его присутствия возле себя... И сама себе она представлялась тогда в виде маленькой деревенской девочки, которая ни о чем не знает, кроме коровы и огорода, которая так любопытна и так стыдлива...

Потом они взглянули друг на друга, и оба затрепетали.

Он выпускает ее руки из своих и говорит тихим голосом:

— Тебе холодно!

И она отвечает так же тихо:

— Нет, мне не холодно.

И снова тихо. Снова как будто наступила та же напряженность, какая была у стола — после умывания.

Менделю вдруг снова приходит на память выкрест Берек, и он вдруг мысленно спрашивает себя:

«А что, например, если бы я тоже крестился?».

Но он не может найти ответа на такой тревожный вопрос. Ему представляется, что это было бы чем-то ужасающим, гораздо более страшным, чем эта болезнь, которую он только что перенес... И при воспоминании о своей болезни он чувствует, что голова у него еще болит... и кажется ему, что теперь она болит еще больше, еще сильнее, чем прежде... Он ложится на подушку и закрывает глаза.

Тут припоминаются ему все подробности: как он в'ехал в заезжий двор; как он получил пощечину; как он упал... Потом, как он очнулся от долгого мучительного сна... И снова: та минута, когда Нача нежно гладила его.

И ему снова становится легко. Он уже больше не чувствует боли. Голова у него теперь в таком же состоянии, как до болезни, даже лучше, чем до болезни...

— Может быть, ты бы легла спать? — спрашивает он ее, и ему хочется, чтобы ответила она и да и нет.

Он сам не может понять, что это произошло с ним в течение последних нескольких дней. Был бы здесь, например, Файвка, так он бы смеялся над ним до хрипа... «Кто я в самом деле такой? Святой? Праведник?».

— А ты почему не ложишься?

— Что-то не спится.

— А я уж так привыкла ожидать, пока ты заснешь, что не могу уж и глаз сомкнуть, пока ты бодрствуешь.

— С каких пор это ты так привыкла?

— С каких пор? Вначале ведь были целых две недели, когда я часто и не думала о сне.

Она говорит это в душевной простоте, и не думая даже ставить на вид, что она сделала для него.

Он тоже воспринимает это весьма просто, но весь он проникается огромной, безграничной благодарностью к ней, той благодарностью, которую он начал чувствовать с первой минуты после того, как очнулся от болезни.

— Нача, — говорит он, — знаешь, я лежал больной, а ты за мной ухаживала. Не знаю... как-то... понимаешь?..

И вдруг выпалил:

— Я тебя люблю!..

Слышит она эти последние слова, и они сначала представляются ей в таком виде, в каком она их бывало слышала в «те» времена, иногда из десятка уст в одну ночь... Все они бывало говорят ей «кохане»— «люблю тебя»... И теперь только впервые она чувствует тот смрадный запах табаку и пота... теперь только она начинает понимать ту ужасающую грязь, то страшное зловоние...

Но мало-по-малу от его слов в душе у нее проясняется, словно там зажигается свеча... Та самая свеча, которая горела в ее душе, когда она сидела у одра больного и вспоминала про свои далекие, запечатлевшиеся в памяти, детские годы.

И она вдруг чувствует себя виноватой перед ним, такой виноватой... ей хотелось бы, чтобы он ее избил, крепко-крепко поколотил...

— Мендель, — говорит она, — знаешь, в этой комнате жила моя тетка, Сташа и я... Когда моя мать умерла, я сейчас же пришла сюда... Я была тогда голодна, так голодна, что, идя по улице, заглядывалась на все витрины, где только были с'естные припасы... Здесь в комнате было тогда несколько молодых людей и один офицер постарше. Вот здесь они сидели, а на столе стояли бутылки водки и пива. Лежало несколько фунтов хлеба и ветчина... И тут было так тепло... и так хорошо... Ах, ах!..

Говорит она как будто уже другим голосом, и пальцами крепко-крепко придавливает глаза. Красные кольца и огненные кружочки начинают кружиться и прыгать перед ее глазами, пляшут со всех сторон.

И она внезапно срывается с кровати и вскрикивает, указывая впереди себя:

— Видишь?.. Вон в той самой кровати!.. Со старым офицером!..

Мендель слушает ее, и от ее колючих слов ему становится все легче, все отраднее на душе... И такое чувство разливается по всем его членам, какого он еще никогда не испытывал... Он берет ее за руку, и чувство глубокого сострадания об'емлет его... Ему хочется плакать, и он сам не отдает себе ясного отчета в том, кого собственно ему жаль — ее или себя самого... И он все повторяет те же слова, поглаживая ее руку:

— Я люблю тебя! Я люблю тебя!

Видит она, как он принимает ее признания, и, видя, что он не бьет ее за это, она приходит в какое-то неистовство...

Она не верит его словам, не верит, что он ее любит... Не то он бы ведь избил ее за это... И она жмется к нему:

«Пусть уж будет со мной, что будет! Все равно ведь я уже пропащая»...

И в ней загорается желание, чтобы он взял ее так, как «те» ее брали... чтобы он говорил с ней простыми словами, от которых пахнет табаком и потом...

И ему тоже становится как-то чудовищно-странно от ее движений, и он испытывает нечто такое, чего он еще никогда в жизни не испытывал... То, что он чувствует, похоже на слезы; и по мере того, как она прижимается к нему, он чувствует невероятную нежность к ее милому телу...

Он знает, что это она, Нача, которая дежурила у его постели две недели под-ряд, не ела, не пила, не спала...

— Душа моя родная!..

И еще сильнее чувствует он этот прилив благодарности, от которой душа его становится чище и све-

жее. В голове у него теперь такое состояние, словно тихий легкий ручеек спокойно протекает там, и ему становится ясным много, очень много такого, о чем он раньше и понятия не имел...

И от этой облегченности он чувствует, что слезы, которые раньше так подступали к его глазам, теперь начинают струиться капля за каплей медленными теплыми струйками...

И тогда руки его сами собою протягиваются, и он обнимает девушку с той самой легкостью, которою теперь переполнены его голова и сердце... Он запечатлевает горячий поцелуй на ее лице, и оба остаются лежать тихо-тихо.

Мягкость Менделя была особого рода. Словно большой и сильный парень, чувствуя в своей душе эту мягкость, он мог взять в руки самое нежное создание в мире, самую белоснежную лилию, — и никакого вреда не причинить ей. И она выйдет из его рук незапятнанной... а может быть, может быть еще более белоснежной, чем раньше, потому что она очистилась от соприкосновения с другой, такой же нежной белизной.

ГЛАВА VI

В эти дни в местечке произошло новое событие, заставившее всех говорить о себе. И действительно, даже через несколько недель в местечке можно было встретить таких, которые заново вспоминали об этом и рассказывали другим о своей новости:

— Слыхал? Пелта приехал.

Это было в то время, когда воздух был насыщен свежими новостями; когда газеты брались нарасхват и люди набрасывались на них, как голодные волки; когда немцы собирались заключить мир с Россией.

Тогда все спекулянты и все «фабриканты» приостановили на время свою деятельность: думали — уж конец войне.

«Может быть, невыгодно уж будет «работать»? — Может, никто уже и не станет покупать шмугеля?..»

И следует сказать, что многие, очень многие были недовольны этим...

Даже Ицхок-Йойна, наш Ицхок-Йойна, этот тихоня, этот портной, совсем непохожий на своих товарищей по ремеслу; он, который с места не тронется без молитвы, без табакерки, — он тоже был недоволен тем, что собираются заключить мир...

Что это с Ицхок-Йойной? Неужели и его схватил в свои об'ятия этот дух-искуситель войны?.. Все еще помнят его скрытный тон, когда он обратился к своему компаньону:

— Иосиф,—сказал он,—бог с тобой! как это ты можешь нечто подобное промолвить... Он ведь еврей...

Но что же все-таки с ним сталось?

Может быть, он нажил состояние?.. Он работает, жена работает, дети работают; прибыль тоже не маленькая... А деньги — великое искушение!..

Или нет! Не то! Ицхок-Йойна, правда, имеет уж состояние в две-три тысячи марок, но какое это теперь имеет значение? Подумаешь — тоже деньги! Пусть попробует три-четыре недели ничего не делать, — и конец деньгам... Все равно, как если бы до войны о ком-нибудь сказали:

— У него состояние в целых пятнадцать рублей!..

Но почему же все-таки он недоволен тем, что перестанут стрелять и истреблять друг друга и мир воцарится на земле?

Не отвык ли он уже от иглы? Не забыл ли даже, как нитку вдеть в ушко?..

Но почему же он с таким энтузиазмом хватается за шитье всякий раз, когда надо себе что-нибудь починить или пришить, хватается с таким же рвением, как к синагогальному песнопению в дни великих праздников? как в главе из псалмов? наконец, как только что отученный от груди ребенок рвется к груди своей матери?

Даже у его сыновей и у его дочери с румянцем на щеках не выходят из памяти те дни, когда комната оглашалась песнями, машины трещали, и работали они свободно, открыто, посреди бела дня, у всех на глазах...

Но как бы то ни было — так оно и есть. Так оно было с Ицхок-Йойной и тысячами ему подобных. Они сами не понимают почему, но они уж так сжились с запрещенными занятиями.

Работают ночью, в темноте... водка течет чрез охлажденные трубки капля за каплей... капля за каплей... и каждую минуту грозит опасность... Но зато, когда все готово — тогда ведь ты «на коне»!.. Продал товар, — и каждый грош тебе кажется находкой... словно каким-то чудом он влетел к тебе в карман... И поэтому он так полон чарующей прелести...

И все эти Ицхок-Йойны избегают всяких занятий, в которых нет «контрабанды», хотя бы эти занятия сулили им «величайшие блага в мире»...

«Лучше запрещенный грош, чем легальный рубль!..»

И никто не представляет себе, как он мог бы жить без этого, без котла под землей... даже когда война совершенно прекратится!

И вот теперь, когда с утра люди увидали на базаре развевающееся белое знамя; когда на вопрос, что это означает, они получили ответ, что идут пере-

говоры с Россией; когда они к тому же увидели большие печатные плакаты на стенах, посвященные этому событию, а тут еще немчики стоят кучками, курят свои трубки и беседуют на ту же тему... А лица их полны победоносной гордости: — России — капут! То можно себе представить, как встретили эту весть спекулянты и самогонные «фабриканты»: синие круги появились у них под глазами...

И рассказывают, что в главном городе, в Варшаве, многие, очень многие ходят так с синими кругами под глазами...

Обстоятельства меняются: в начале войны другие ходили по улицам посинелые... те, что живут в подвалах; те, что с наступлением зимы не имели ни теплой одежды ни одеяла... И вообще бездомные, беженцы, которые валялись на улицах, стоны и вопли которых заглушались, которые коченели от холода... И была среди них такая тишина, как среди мух в осенние дни, и все скорчилось, скрутилось, с'ежилось в собственной оцепенелости... И не раз сидел человек на тротуаре, и трудно было сказать, что больше оцепенело — тротуар ли или эта человеческая куча...

И даже счастливейшие из них оглашали улицы выкрикиванием своего товара.

— Картофельные бобы!..

И дабы товар не охлаждался, они держали его за пазухой, грели своей грудью, теплотой своего тела.

И не один человек падал на-земь (не вдруг!..) и оставался лежать, потому что последняя капля тепла испарялась из его тела...

И когда наступали сумерки, тогда снова девушки и женщины—а может быть, иногда и старые женщины—выходили в тускло освещенные или совсем темные

улицы и снова «торговали» там уж совсем иными товарами...

Так было в начале войны с теми, что жили в подвалах.

Но теперь, думали, уже конец... настала пора для спекулянтов и «фабрикантов», теперь их очередь... Те из подвалов, что остались в живых, смогут выбраться на свет божий, согреть на солнышке свои озябшие кости, и настанет для них «воскресенье из мертвых»...

И тогда деятельное беспокойство охватило всех... Признаки «воскресения из мертвых» стали появляться наружу...

И люди стали собираться на базарной площади в кучки, даже лавочники с заостренными бородками суетились, тут и там образовалось нечто вроде уголка синагоги за печкой — арена для горячих, очень горячих политических бесед...

Каждый высказывает свое предположение, и у каждого свои особые соображения на этот счет.

«Возможно предположить так, но можно толковать и эдак...»

И вот тогда, в такое именно время, произошло это событие. Пелта возвратился из России.

ГЛАВА VII

Приехал он с женщиной в кольцах на всех пальцах. Была она высокого роста — почти такого же, как он. Волосы и глаза — черные, как самый черный уголь. А туфельки она носила желтые с белыми носочками в форме пряничка.

Когда в местечке увидели этих двух новых персон — стар и млад стали бегать вслед за ними. Детвора

бегала впереди них по обе стороны, поминутно поворачивая головки, словно собачонки, бегающие вслед за лошадью. Странным созданием должна была представляться в их глазах спутница Пелты: красная шляпа с голубой вуалью на лице; белое платье, хотя до лета было еще далеко, короткая зеленая шерстяная жакетка. А его даже взрослые с трудом узнали.

Широкая черная фуражка, с блестящим козырьком; длинное пальто с зеленым лампасом вокруг левого рукава; а главное — вместо одной ноги — деревяшка.

Лишь тогда, когда увидели их входящими в дом мясоторговки Добы, — догадались, что это Пелта.

Ну, можно ли себе представить, чтобы Доба смолчала?

Увидав «ведьму», она еще до первого «с добрым утром» схватила веник, обычно стоявший возле двери, и набросилась на нее с такою яростью, на которую только способна рассвирепевшая жена при виде любовницы своего мужа...

Но тут Пелта сразу же дал себя почувствовать, — и Доба лежит уже во второй комнате и воет и кричит таким благим матом, что вдвое больше людей сбежались на ее крики.

Тут Пелта снова принялся вводить свои порядки; в одно мгновение все сбежавшиеся были уже по ту сторону дверей, а в комнате остались только «пшиятели» да она — одесситка.

Покончив с женой и со всей этой уличной толпой, он берет за руку одесситку, ставит ее на виду у всех и говорит:

— Вы видите эту женщину? Это—Мирка-одесситка. Уже два года, как мы с ней живем. Вы видите, эти кольца — это все кольца Мирки-одесситки, все — сорок восьмой пробы! Драгоценные кольца. Вы знаете, я уж

был бы там, где находятся все животные, после того как им делают «чик-чик»!.. А кто спас меня? Она — Мирка! «Но только, — сказала она, — ты должен на мне жениться». Ну что ж мне оставалось делать? Что я — такой красавец, что ли? Вы видите эту ногу?

И он поднимает ногу так, что всем видно, что отрезана она до щиколотки.

— Мирка! Я ж тебя спрашиваю: красивый я молодой человек?..

— Да, Пелта, ты красивый молодой человек!—слышат все впервые голос одесситки.

И им кажется, что это колокол — хоть и несколько надтреснутый, но все же колокол — протрезвонил эти несколько слов.

И она разражается хохотом: и тогда уж не один, а несколько колокольчиков, тоже надтреснутых, начинают дребежать по комнате.

— Чтоб тебя нелегкая взяла!—смеется также Пелта.

Затем обращается к приятелям:

— И танцовщица же это — первая в Одессе! Все офицеры так и льнули к ней, как когда-то мы все льнули к «Новачанке»...

Вспомнив «Новачанку», все уж начинают щурить левый глаз... и кивают головами по направлению к Пелте:

— Первый удар должен был бы разразиться на твою голову!

— А потом у них, у красных, — продолжает Пелта, — как вы думаете? Не «страдали» они из-за каждого ее шага? Раз как-то входит красный: не иначе, как моя квартира ему нравится. Я не позволяю. Уж берутся за перо — и что же? Он вдруг узнает, что я был поставщиком при царе!!. Здорово! Кабы не Мирка, где бы я теперь был?..

Но что Файвке больше всего нравится во всех этих рассказах, так это — ее умение танцовать. Да, такая должна уметь танцовать так, что «холера тебя возьмет, глядя на нее!». Но остальные качества ее не импонируют Файвке... На что здесь можно позариться? Эка важность!

Так Пелта здоровается со своими «пшиятелями», а она, Мирка, сидит верхом на стуле, глядит на присутствующих, смеется и обнаруживает при этом полный рот золотых зубов, так что, глядя на нее, думаешь: «Златопламенный рот!..».

Приятели рады приезду Пелты, но больше всех — Хаимка-Король и Пантель — лучшие его друзья! Один без другого шагу, бывало, не ступят.

Но радость Файвки не уступает радости Хаимки и Пантеля, хотя она совсем другого рода... Конечно, это не радость закоренелой давнишней дружбы, но все же это радость...

Для местечка теперь бесконечные темы для разговоров.

Все предприятия закрыты. Не только потому, что скоро наступит мир и незачем уж будет спекулировать, но и оттого, что в местечке—праздник: Пелта вернулся. О Файвке и говорить нечего: он прямо с ума сходит по приезжей с тех пор, как услыхал, что она умеет танцовать.

Недовольны только более благочестивые обыватели местечка. Вдруг как-то все местечко перевернулось вверх дном: русских женщин привозят сюда!..

И в это время всем приходит на ум эта «билитея» — кто знает, не «билитея» ли является причиной всех этих бедствий. Хотя, правду говоря, никто не знает наверняка, имеет ли Пелта какое-либо отношение

к этой «билитее». Но все же... Пелта привез с собой женщину, и там тоже сидят девушки и молодые люди вместе.

Как бы там ни было, — это все одного и того же порядка.

ГЛАВА VIII

Новая жизнь началась в местечке со времени приезда Пелты: это обнаружилось в первую же субботу.

Пелта всегда был окружен своими хорошими приятелями, и дом его еще издавна был открыт для «нашего брата». Но теперь — после целой недели забот и треволнений — им еще больше полюбилось субботнее времяпрепровождение за кружкой пива, которое с нынешнего дня приобрело в их глазах «прежнюю прелесть», и полюбили они его рассказы о новой великой России.

Рассказывая, он указывает на свою деревяшку и по каждому поводу попрежнему, по обычаю, ссылается на Мирку как на свидетельницу.

Пелта рассказывает, и спекулянты представляют себе воочию: красные люди с флагами, с красными лампасами идут и кричат: «Свобода! Свобода!».

Кажется, простые слова. Но произносит он их так, что какая-то огромная скрытая в них сила выходит наружу... и эта сила как будто оглушает и поражает их... И сам Пелта, который пользовался среди них таким почетом и который был среди них самым большим и сильным, неизменно заканчивает каждый рассказ словами:

— Понимаете, мне ведь это все равно! Но у «них» нет больших и малых: генерал, солдат и вообще человек — все у них на одну ногу... все равны! Нет, братцы мои, сильных и слабых — все равны!..

И он выпрямляется во весь рост и поглаживает двумя пальцами свою зеленую нашивку (признак, что он там служил в милиции) на левом рукаве, и в эту минуту он испытывает чувство гордости перед своими приятелями при сознании, что он был «там», а они — нет...

Отдохнув, Пелта стал подумывать о том, чтобы взяться за какое-нибудь дело.

— Я мог бы, — говорит он, — даже два года сидеть так и есть. У нее ведь целые клады золота... Но ведь это же не дело — сидеть на всем готовом и ничего не делать...

Разговорившись с приятелями на эту тему, он советовался с ними, как лучше: взяться ли снова за мясную лавку или приняться за «шмугель», как все делают.

Услыхав эти последние слова, спекулянты крепко обрадовались: он, Пелта, поедет с ними вместе... А Янкель подходит к нему вплотную.

Прочие умолкают.

Янкель собирается что-то сказать...

Но Янкель даже не шевелит губами, ибо что, что он может сказать?.. Но видя, что все приумолкли, он вдруг впадает в сомнение и начинает мотать головой направо и налево, вверх и вниз — на все четыре стороны — и разом выпаливает:

— Чтоб нам всем так...

И вдруг обрывает и мечет молниеносные взоры:

— Всем так... жить! Пелта, издохнуть бы тебе!..

Народ хохочет, а Файвка плутовски подмигивает Мирке:

— Янкель Чан заговорил!..

Но Пелта отвечает:

— Слышишь, Янкель, — душа, холера тебе в живот! Хе-хе-хе!..

— Да, Пелта, — отзывается Мирка, — холеррра ему в живот... — и она произносит «р» твердо — по-одесски.

Стоит тут Ичелэ рядом с Берче (когда Король тут, Берче обычно молчит) и говорит Берче на ухо, показывая на нее:

— В Варрршаве на Ррымарской номеррр тррри ездили верррхом трррридцать трри ррыцаррря и трррубили в трррубы.

Мирка поворачивает голову в сторону Ичелэ и кивает ему белым носком своей желтой туфельки: это означает, что он ей нравится...

Но Янкелю все еще не по себе от тех немногих слов, которые он произнес, и он был бы очень доволен, если бы вдруг началась какая-нибудь драка, и он мог бы слегка погреть руки...

Доба вела свою «политику» и на время заключила перемирие с одесской «язвой», как она называет Мирку. Но в сущности говоря — какой же это мир, когда глядят они друг на друга исподлобья... через плечо... Таких криков и скандалов, какие произошли в первый день появления «одесситки», уже не происходит теперь...

В местечке же начали ходить всевозможные сбивчивые истории, в которых местечко запуталось и осталось в полном недоумении, как говорится — ни туда ни сюда...

И это неудивительно — где, в самом деле, это слыхано, где это видано?

Доба настаивала, чтобы ее муж, Пелта, взялся снова за мясную лавку... Что он успеет «шмугелем»? Разве не видно, как даже у Пантеля уж миновало время золотое?..

— К чему тебе искать счастья в новых занятиях, муженек? — убеждала она. — Мясная лавка стоит. По-

купатели, слава богу, есть; есть также кому притащить коровку. Чего тебе еще?..

Так она, бывало, уговаривала его, а про себя думала в это время:

«Мне бы только иметь его возле себя в городе... в мясной лавке... Будут заходить покупатели, прохожие... будет с кем посоветоваться... И я уж придумаю какую-нибудь «черную напасть» для этой одесситки...».

Но Пелта решил непременно заняться спекуляцией — и ездить он будет с Пантелем. Он ведь старый «пшиятель»! Так он решил и так он поступил.

И Пелта поехал в каретке Пантеля. Сидят они оба на козлах, и Пелта рассказывает во время этих поездок долго и пространно обо всем, что с ним приключилось с тех пор, как он еще до войны — при русских — сидел в кутузке: как заехал в местечко какой-то офицер, по требованию которого его, Пелту, вынуждены были выпустить на свободу.

Во всей округе не было другого такого мясника, как он! Только взглянет на корову, — и уж знает, что из нее выйдет. То же самое — на бойне. Случается порой такая корова, что никак с ней не справишься. Как ее ни привязывай, как ее ни скрути, а в последнюю минуту она как взметнется, — и кончено дело! Но когда Пелта тут и только упрется в нее, — так можно уж делать с ней все, что угодно. Она уже с места не сдвинется...

И Пелта рассказывает во время поездок обо всех приключениях, которые с ним произошли за это время, а также о том, что он видел у других, начиная с того дня, как он выбрал «пропуск» и поехал вслед за армией в качестве поставщика.

Пантель, со своей стороны, тоже рассказывает обо всем, что произошло в местечке со времени от'езда Пелты.

А в повозке сидит компания и с немым благоговением прислушивается к этим рассказам — словно речь идет здесь о каких-нибудь величайших событиях.

ГЛАВА IX

Все сидят в подводе, но Менделя нет среди них.

Когда компания вспоминает о нем, все при этом делают такие мины, словно бы он был уже в мире теней, или еще худшее приключилось с ним.

— Такой парень! — говорил бывало Файвка. — Ведь любо поглядеть на него!

А порой со злобой:

— Бритоголовый — огонь бы пожрал его мать! — испортил его.

Сейчас же по прибытии Менделя из Варшавы после болезни Пантель хотел справить обряд обручения и писать свадебный контракт. Но Мендель удерживал его от этого:

— Чего там торопиться? Мне бы еще немного отдохнуть.

И он отдыхал. Когда подводы от'езжают, он обычно идет провожать несколько верст за город. Обыкновенно в таких случаях Нача идет с ним рядом, и они говорят о тысяче разных вещей. Он любит эти беседы.

Иногда в хорошую погоду, когда лошади плетутся медленно, шаг за шагом, они отстают от подводы и быстро поворачивают к полю. Она подбирает цветочки — такие маленькие, легкие, весенние цветочки. При этом они замедляют шаги, и в Наче начинает пробуждаться то чувство тоски по природе, какое она испытывала в ту знаменательную ночь, когда луна отражала свой блеск на противоположной стене и три подруги сидели

у себя в комнате и в первый раз заговорили о том, чтобы взяться за спекуляцию.

И все ярче и явственнее кажется ей, что вот она еще маленькая девочка, крестьянская девочка. Она распускает свои светлые волосы, вплетает в них цветочки, и много цветочков бросает она Менделю в лицо.

И в эти минуты, когда волосы ее распущены и цветочки сияют в них, как маленькие звездочки, — Мендель готов все на свете сделать для нее, броситься ради нее в огонь.

А придя домой, он застает двоюродную сестру, идущую ему навстречу с неизменным вопросом:

— Как поживаешь, Мендель?

И она желает ему скорейшего выздоровления, как научила ее мама, сестра Пантеля. И она садится, покраснев и опустив глаза, играя белым передником.

Он уже проведал, что сапожник Хаим увивается за ней, и однажды он спрашивает ее:

— Скажи, пожалуйста, Ривча — чего он хочет от тебя, этот Хаим? Чего?

Она отвечает, и глаза ее все еще опущены:

— Почем мне знать? По субботам он заходит к нам, становится возле комода и начинает рассказывать, что он зарабатывает уже семьдесят марок в неделю. Часто, когда я выхожу погулять с дочерьми Копеля, он тоже подходит к нам и начинает хвалиться своими заработками. Кто его знает, что он этим думает?

Мендель преисполнен злобы. Он готов всадить Хаиму нож в горло, если это повторится... А ее он спрашивает:

— Скажи мне, Ривча, всю правду: ты его любишь?..

Лицо ее становится пурпурным, и она отвечает:

— Любить? Его?.. Вот тебя я люблю.

Тогда он обнимает ее и целует.

Но тотчас же вспоминает Начу. Тогда он чувствует полную растерянность и убегает во двор. Холодный пот покрывает его. Долго-долго стоит он так и глядит через забор в сад. Наконец он успокаивается, входит в сад, ложится на траву и отдается размышлениям.

Вспоминает, как он слышал однажды историю одной любви, рассказ о каком-то парне и девушке, любивших друг друга...

«Да, влюблен... — прерывает он вдруг ход своих мыслей... — Но почему Файвка смеялся бы надо мной, если бы узнал про это?.. И даже сам Ичелэ тоже...»

Так сидит он до поздней ночи — один-одинешенек. Потом идет к дому — и вдруг останавливается:

«Вот если бы она была еврейской девушкой...»

И он чувствует, что долго он уже не может переносить разлуки с ней. Необходимо снова начать поездки в Варшаву.

И Мендель снова уж идет за своей подводой. И однажды — это было как раз после первого выезда Менделя—когда они уж проехали значительное расстояние,—вдруг выходит из-за дерева немец, совершенно незнакомый, повидимому недавно прибывший сюда, и задерживает все подводы.

— Да,—воскликнул он,—поймал спекулянтов! Ну, стой! Поворачивай назад! В город!

Ну, им, конечно, это не по душе: «Как так теперь вдруг возвращаться назад?».

И Пантелю вдруг приходит в голову зловещая мысль. Ему вспоминается та ночь, когда Гурчицкие встретились с ними в пути...

Но Пелта уж всовывает немцу в руку несколько кредиток. Немец с улыбкой принимает их. Но тут же оглядывается, и ему, повидимому, нравятся девки. Тогда он, покручивая усы, ближе подходит к Наче

и берет ее одной рукой за подбородок, а другой за руку повыше локтя.

Видит это Мендель и одним прыжком очутился уж возле немца. В ту же минуту немец уж лежит, поверженный на землю, а Янкель, сидящий уже на козлах, готовый к дальнейшему от'езду, при виде драки приподнимается с козел, сплевывает себе на руки и соскакивает с подводы.

Пантелю с трудом удалось оторвать Менделя от немца и немца от Менделя.

Тогда немец выхватил револьвер и выстрелил. Пуля пролетела мимо руки Менделя и оторвала кусок его рукава.

Тогда Нача, умоляя, подбежала к немцу.

Но немец упорствовал:

— Я должен пристрелить его, как собаку!

И он швыряет обратно деньги, данные ему Пелтой, и, прицеливаясь, кричит:

— Ну, довольно стоять! Назад! Марш назад!

Видя, что дело плохо, все набросились на Менделя:

— Что ты наделал? Что тебе вздумалось? Теперь уж видишь?

Начинают немца упрашивать, умолять, предлагают уж вдвое больше денег, вчетверо больше, — но не помогает, и немец берется за ружье для сигнального выстрела.

Видя, что надвигается опасность, Пантель берет Начу за руку и подставляет немцу прямо под ружье.

Увидев девку, немец просветлел и снова улыбнулся.

Никто не верил, что немец, когда он рассердится, может так быстро остыть; полагали, что немало воды должно утечь, прежде чем рассерженный немец может успокоиться... А вышло совсем по-иному...

И так как некогда было, — надо ведь ехать дальше, то немцу предложили уединиться с ней тут же, в канаве... И так он и сделал — поставил ружье на землю...

А Пелта стоял еще напротив него и держал деньги перед его глазами.

Тогда Мендель вдруг затрясся всем телом, как в лихорадке, и, повернув, кинулся бежать.

У первых домиков он остановился. Отер пот с лица и пошел по дороге к узкоколейке. Оттуда он пробрался в лес и подошел к пруду; стащил с себя сапоги и вошел в воду.

С того времени он снова слег и проболел много недель. А впоследствии, когда он уж выздоровел, — Менделя нельзя было и узнать... Другой Мендель стал, совсем другой...

Кажется, тот же парень, но сидит он дома, как полоумный... Он глядит, как тянутся по небу тучки, как качаются деревья, и он слышит, как шепчутся листья.

Обращаются к нему, но он не отвечает. А если ответит, то кратко и отрывисто: одно-два слова, словно мир уже не его... и так тихо, так мягко, подобно «нежной Мирелэ»...

Он часто ходит в лес, садится возле пруда, смотрит, как маленькие волны зыблются, как купаются утки, как ныряют рыбки.

Таков теперешний Мендель.

— Огонь бы пожрал мать Бритоголового, — говорят в местечке.

ГЛАВА X

Урка заменил Менделя. Вначале его работа была маленькая: наблюдать, чтобы лошади получали во-время корм. Но впоследствии Пантель стал привлекать его к себе на помощь и в других случаях.

Когда высылали вперед разведчиков, Урка как нельзя более подходил для этой роли. Он не бросался в глаза, благодаря своему росту, и к тому же не давал знать о своем присутствии громкими разговорами, как это делали другие спекулянты. Потому что у них, у спекулянтов, даже в самые серьезные, самые тяжелые моменты их работы сохранилось сознание, что «хуже худшего все равно не бывать».

Что, в самом деле, могут немцы им сделать? Забрать товары? Но на этот счет им уже не привыкать-стать! Что они — мальчишки какие-нибудь? Вчера только начали спекулировать? На их взгляд — это вполне в порядке вещей, это так и должно быть, чтобы отбирали — лишь бы не так уж часто!.. Ну, что ж? Отберут, так отберут! Так из-за этого ходить молча? Что у них — сохрани господи — язык отнялся? Или они не в состоянии уж вымолвить и слова?.. Само собою разумеется, что нет!..

И любо поглядеть тогда на Файвку, как он предводительствует разведчиками. Идет он по шоссе, согнувшись, как дуга, и делает при этом самые таинственные мины. Он идет, глядит в далекий мрак, и при этом делает такие телодвижения и гримасы, что все, идущие за ним, меняются в лице шесть раз в секунду...

Что говорить? Когда ему вздумается, он вдруг останавливается в той же согнутой позе, вытянув руки вперед параллельно к земле, и начинает двигать кончиком носа и губами то туда, то сюда, направо и налево, то медленно, то быстро, как Файвка только способен делать... И какая-то дрожь проходит у всех по телу, от корней волос до пяток! И все, словно по команде, останавливаются и сами не знают, что тут делать: перегнуться, как он, с вытянутыми вперед руками, или застыть, стоя, и только глядеть на него... Потому что есть

в этом Файвке нечто такое, что заставляет глядеть на него... И тогда можно или лопнуть от хохота или, наоборот, выскочить из собственной оболочки от страха!..

И бывают прекрасные ночи. Теплые, таинственно-шелестящие, заколдованные осенние ночи. Травы колышутся, шепча какие-то таинственные слова и звуки. Деревья шатаются, и вместе с ними качаются их тени. И чудится, словно идет пляска на земле, танец теней, и при некоторых движениях эти тени кажутся такими светлыми, еще светлее, чем самый свет; чудится, будто звезды дальние обливают фосфором эти тени... И тогда у Файвки ноги сами собой поднимаются и влекут его, и он делает при этом самые эластичные движения.

И им овладевает желание поплясать, — такое страстное желание, что он без этого как будто и жить не может. Тогда останавливаются посреди дороги; парни выбирают себе свои парочки из среды польских девушек, кой-кто вытаскивает гармошку, — и начинается пляска совсем не на шутку!

Тогда и маленького Урку начинает тянуть в средину круга. Ему бы уж хотелось играть и танцовать вместе с компанией... Вот жизнь так жизнь!..

Зато, когда наступает скверная погода, тогда, брат ты мой, плохо приходится: места себе не находишь.

Вот была зима, — слава богу, что уж миновала!.. Как бушевали ветры, словно дикие звери... И падали такие дожди, что нельзя было высунуть головы. И ветер с дождем чередовались и постоянно приходили друг другу на смену, точь-в-точь как на свадьбе: не успеет одна пара прекратить пляску, как за ней уже следом мчится другая пара... И часто ветер с дождем встречались вместе, и потоки лились кругом. И тогда поднимается такая музыка, какой никто, кажется, никогда не слыхал... Ни у кого уж не появляется охоты танцо-

вать — все молят бога, чтобы как-нибудь эту ночь пережить. Кругом бушует и свищет...

И в такую ночь уж безразлично, где сидеть — под навесом или вне его: всюду проникает вода, и все тело промокает насквозь.

К чорту все!..

И если есть на свете хоть одно существо, которому наплевать даже на такую непогоду, так это только Файвка.

— Теперь, — говорил он, — мы все можем повесить себя на чердаке, чтобы посушиться. Но раньше надо итти к прачке, чтобы она нас хорошенько скрутила: не то можно так провисеть целый год, с понедельником в придачу...

Так острит Файвка, оборачивается к своей Матеехе, обнимает ее и выжимает над нею рукава свои. Тогда вода начинает струиться по ее лицу и шее, словно через продырявленный желоб. Но она даже и не шевельнется.

И не только она, но и старый Шайка и Берель, когда Файвка проводит по их лицу мокрым рукавом, остаются к этому совершенно равнодушными—уж давно привыкли к такой погоде. И помимо того, все вообще сидят в карете, как полоумные, — и ничто их не трогает, ничего они не чувствуют, разве только непоборимое желание вздремнуть.

В такое время Урке пришлось начать свою спекулянтскую карьеру.

Когда он впервые насквозь промок от такого дождя, он забился в уголок и с'ежился. Вокруг него, над ним, под ним — всюду дождь хлестал, словно целые толпы людей прищелкивали языками.

Всюду и во всем чувствовалось что-то слякотное, жидкое, размякшее. Даже стук копыт, даже лошадиное ржанье было какое-то размякшее.

Урка, спрятавший уши под меховую шапку, похожую на промокшую кошку, лежал в уголке калачиком. Даже его подбородок и брови сдвинулись и приблизились друг к другу, и только через маленькие глазные отверстия глядел он на зонтик, висевший над головой Ханы, дочери Гимпеля. А с зонтика все текло да текло, капля за каплей: спадет капля, впитывается в распухший, насквозь промокший платок, — и вот уже следом за ней ползет вторая капля, карабкается вниз по всей длине зонтика, от верхушки его до самого конца... А следом за ней другая, третья, четвертая... И так все время, беспрестанно, одна за другой, одна за другой, без конца, без предела...

ГЛАВА XI

«Урчик будет молодцом!» — Эти слова Пантеля, сказанные им Менделю, когда он, Пантель, пришел проведать его в Варшаве, теперь уже у всех спекулянтов на устах.

— Вот птичка-то! — смеется девка, к которой Урка иногда прильнет, прижимаясь к ее груди и смеясь визгливым смехом.

— Он и меня еще когда-нибудь надует *, — говорит Файвка, видя, с какой ловкостью Урка умеет сцапать какой-нибудь узелок с чужой подводы, в то время как пасут лошадей, или даже в пути — во время езды.

Когда земля стала чернеть, а дороги — засыхать под ласкающими лучами весеннего солнца, тогда только на фоне спекулянтской жизни во всем своем великолепии показался Урка, или «Маленький Пантель», как его

---

* Тут игра слов, основанная на том, что «Файвка» означает по-еврейски «дудка». *Прим. перевод.*

попросту называли. Шапку, куртку и сапоги он носил отцовские, — и потому даже самим спекулянтам трудненько было различить издали, кто идет — отец или его сын.

Урка видел, что каждый раз отбирают товар, а припрятать его хорошенько негде, потому что двойным дном теперь немца уже не проведешь; у них для этого есть простое средство: они штыком протыкают дно телеги, как некогда тот «Гаман» в самогонной «фабрике» у «банщика», и измеряют глубину телеги изнутри и снаружи, — тогда они уж знают, как велико дно.

И вот тогда Урка придумал:

— Раз нельзя перевозить «шмугель», так надо совсем взяться за перевозку мебели.

Подвода Пантеля сделала первое начало, а Копель и Янкель были вне себя от радости, когда узнали об этом.

Урка с разгоревшимися щеками перебегал от одной подводы к другой, осматривал и ощупывал разные диваны и с наслаждением улыбался одной из девок: «Если хочешь, то можешь немного поваляться на этом диване».

Немцев это обстоятельство чрезвычайно удивляло: «Почему это спекулянты вдруг стали возить мебель в Варшаву? Неужели в этом местечке появилась мебельная фабрика, посылающая свои готовые изделия в Варшаву для продажи?..».

И вот немцы стали внимательно присматриваться и вдруг заметили, что из Варшавы обратно спекулянты тоже возят мебель...

В чем тут дело?..

И наведенные этим на подозрение, они внезапно снова заметили, что те же диваны возвращаются обратно.

И немцы тоже после долгих наблюдений и исследований напали на след и сообразили, в чем тут дело.

А спекулянты (те, кто был достаточно грамотен) прочитали заупокойную молитву по этому контрабандному средству... С глубоким сожалением распрощались они с приятными «сидениями» и — прости-прощай диваны!..

Но долгое время, пока немцы не успели сообразить, в чем тут дело, все сходило благополучно с рук.

Впоследствии подвернулось новое средство.

Неподалеку от сторожевой заставы спекулянты поднимали такой шум и крик, что глухой, кажется, мог бы услышать. Спекулянты начинают петь и свистать так оглушительно, что караульные выбегают из сторожки. И видят, как парни тащат на своих плечах девушек, головы которых перевязаны красными платочками (мешок, сложенный в форме женской фигуры)... А некоторые девушки с своей стороны ведут такую же игру с парнями, у которых фуражки низко надвинуты.

Глядят на это немцы и простодушно радуются этому «представлению»... А при обыске они обнаруживают всего какой-нибудь десяток узелков, и то по два — по три фунта в каждом... Это чрезвычайно раздражает немцев, и когда такие «представления» повторяются второй и третий раз, они начинают не на шутку злиться, кричать и браниться: они догадались, что «глупые поляки» снова водят их за нос... Искали, рылись, пока наконец одному из немцев не захотелось пощупать одну из «девок» на спине парня... И он чуть не рехнулся...

Такие штуки откалывали спекулянты, и во всех этих затеях Урка всегда бывал главным зачинщиком.

Когда они ездили туда или обратно, Урка уже знал, как попотчевать старого Шайку твердым яйцом. Старик берет в руки свою сумочку, вынимает оттуда кусок

хлеба с маслом, щепотку соли и с большим усердием принимается за яйцо.

— Что-то слишком легкое яйцо, — замечает он, взвешивая его в своей руке.

— Свежее яйцо, оттого оно и легкое, — отвечает Урка и затыкает себе рот кулаком.

И лишь тогда, когда старик ударяет яйцом о стенку каретки и убеждается, что у него в руке только пустая скорлупа, он огревает Урку затрещиной, прерывая его визгливый смех.

Тогда Файвка воочию убеждается в его талантах и восклицает:

— О-го! Он непременно обдует меня!..

В тот день, когда не ездили, или по субботам, Урка шныряет по двору, по всем закоулкам. Попадается ему навстречу ребенок, так он подбегает как бы невзначай, опрокидывает его или угощает таким пинком, что тот начинает реветь благим матом...

А то вдруг он делает «визит» по всем самогоночным заведениям, всюду пробует по рюмочке и потом начинает приставать к девчонкам.

Иногда на исходе весны, когда в четверг вечером приезжали из Варшавы и у Урки было впереди целых два дня свободных, — он только накормит и напоит лошадей и сейчас же отправляется на излюбленную прогулку по дворам и закоулкам.

Было душно, и он ходил босой, в широких полотняных отцовских шароварах, в одной рубахе. Где-то во дворе открыты ворота; он входит туда и попадает на широкое поле, сплошь усеянное еще еле видным картофельным цветом. Здесь он еще ни разу не был. И ему все кажется здесь новым, и он глядит на редкие заборы, которые тянутся по левую сторону поля.

Но, увидев красное каменное строение, стоящее на пригорке невдалеке отсюда, он узнал его по красным неоштукатуренным кирпичам и по забору, окружающему его — это была бойня. Урке захотелось пойти туда.

«Теперь как раз режут скот на завтра, — подумал он про себя, — надо подойти туда и поглядеть, что там делается».

Но вдруг он остановился у дерева.

Было уже довольно темно на дворе, несколько девчонок, вышедших откуда-то из лесу, пробирались по полю, таща на веревочке козочек; козочки блеяли, а девчонки передразнивали их.

Девчонки были одеты только в длинные крестьянские юбки, которые собственно были единственным одеянием на их теле. Ножки у всех были босые, а косы расплелись от беготни по лесу. У некоторых в волосах торчали еще колючие лесные иглы, а некоторые несли в руках ароматные лесные подушечки, которые славятся тем, что если положить их на ночь под подушку, то уснешь спокойно, и к тебе придут сладкие сновидения.

По дороге девчонки то блеяли, то пели однотонные крестьянские детские песни. Распевая, они держались ручками за бока, подобно взрослым, или перебрасывали юбочки через головы и, толкая друг дружку, бросались на траву.

Урка стоял и глядел, как они шалят в темноте. А мрак все сгущался — на небе, над самой головой Урки, стали собираться черные тучи. Со всех сторон они столпились, пока все небо не покрылось тучами. Черный мрак ложился на небо, а в воздухе было душно, как перед дождем.

А девочки ходили, поднимали юбочки и кричали:

— Дождик будет! Дождик!

И тогда в Урке разгорелось желание расстегнуть свои широкие шаровары, поднять их над головой, как это делали девочки, и подобно им кричать:

— Дождик будет! Дождик!

Они прошли мимо дерева, но не заметили его. Одна только осталась позади — дочка «Мачижака». Он знает ее: он не раз помогал ее отцу ловить голубей.

Она отстала от подруг, потому что у нее выпало из рук несколько лесных подушечек, и она идет, наклонившись к земле, и ищет их промеж высокой травы, растущей на краю тропинки.

Урка, высунув язык, тихо подкрадывается сзади к девочке, перебрасывает ей юбочку через голову... бросается, как собачка, на траву животом вверх... и бьет ее ладонью по голому телу. Она тоже испуганно падает на траву и кричит:

— Мамо! Мамо!

Подбегают остальные девочки, и тащат обратно за веревочки козочек, а козочки блеют теперь так жалобно, чувствуя приближение дождя.

А девчонки, подойдя к этому месту, слышали только слова Урки:

— А цо кржичишь, а цо? (Чего кричишь, чего?)

Смеются девчонки и, набросившись на него, колотят и секут по мягким частям.

А козочки, испуганные визгами и криками, бегают и прыгают через лежащую на земле кучу — скачут по животам, по ногам, по головам, пачкая их грязью и царапая им лица...

Урке еще и по сию пору, когда вспоминает об этом вечернем происшествии, стыдно перед самим собою; подумать только — девчонки его осилили и опозорили.

Разве это подобает такому молодчику: позволить маленьким девчонкам высечь себя. Правда, что брюки он сам себе расстегнул еще раньше... и у них на этот счет никакой особенной работы не было... Правда и то, что их была целая «банда», но все же его это очень огорчает... Лишь тогда, когда они его отпустили и бросились бежать, — он привстал и стал бросать им вдогонку камешки и комья грязи... это его единственное утешение...

Так растет Урка, и близкие говорят про него:

— Урка будет молодцом!

ГЛАВА XII

С приближением лета в местечко нагрянула «труппа».

Приехали они с извозчиком по прозвищу «Яков-Исав». Остановились они перед костелом, и из брички показалось с полдюжины мужских шляп и три дамских шляпки.

Публика, словно почетным караулом, окружила бричку, изучая гостей. А тем этого только и надо. Один из них — «главный», в коротком пальтишке и с птичьим лицом, элегантно соскакивает с брички, помогает «дамам» сойти и очень довольным тоном обращается к коротко стриженой актрисе, одетой в какой-то странный пеньюар (это, повидимому, — примадонна):

— Кажется, можно будет еще сегодня начать...

Та тоже самодовольно улыбается, глядя из брички вниз.

Между тем, со всего базара на них уж указывают пальцами, а Иосиф Копштик спрашивает:

— Это что за люди?

— Чтобы ты спрашивал — это удивительно. Ты ведь «человек с головой» *)!

А Пиня Грегер уж пододвинулся к ним и спрашивает «главного»: о чем?

— Да,—отвечает тот, прижимая подбородок к шее, дабы получился двойной подбородок... А затем, обернувшись к коротко остриженной, спрашивает: — господин, может быть, знает, где тут гостиница?

— Гостиницы у нас нет, — отвечает Пиня, и ему доставляет удовольствие, что они обращаются к нему за содействием, — но я уж позабочусь обо всем, что вам нужно.

— А театр здесь есть? — спрашивает вдруг актриса, отчего Пиня приходит в сильнейшее возбуждение.

— Я вот... я сейчас... — говорит он, — погодите... Я позову Авремку-артиста.

Услышав это, артисты переглядываются:

— Что ты на это скажешь?

И они хотят задержать его... Но как? Его уже и след простыл, и через несколько минут он снова появляется на базарной площади и подбегает к бричке еще с каким-то человеком.

Актеры между тем заплатили Якову-Исаву и начали гулять по базару, осматривая «место», которое они берут теперь в «обработку». Директор (все тот же «главный») сообщает, что прежде всего поставят «Американку», в которой коротко остриженная девушка имеет «роль».

А Авремка-артист, пришедший сюда в сопровождении Грегера, глядит на них (о, он знает, как надо

---

* Здесь игра слов: «Коп» означает по-еврейски «голова», а Stik — кусок; фамилия Копштик таким образом заключает в себе понятие «человека с головой». *Прим. перевод.*

глядеть!) и делает точь-в-точь такую мину, как тогда, когда он «диклимировал» «Дождь идет», и спрашивает:

— Вы хотите дать нам «спектак»?

Актерской компании сразу стало ясно, с кем они имеют здесь дело, и они отвечают:

— Конечно!..

А Бандель Литвак, «комик» труппы, у которого такие, как Авремка, носят название «Дуль», — обращается к одной девушке, именуемой у них «Черной Анютой», которая, благодаря своему «рту», играет только роли матерей.

— Вот это хорошо.

Но директор отвечает по существу:

— Мы поставим «Американку».

— Да,—говорит Авремка,—красивая штучка. А кто же будет играть ее, американку?

— Я, коллега, — отвечает стриженая девушка, склоняя головку и лукаво глядя ему в глаза.

При этом она как шаркнет ножкой и подымет юбку вместе с «пенюаром», полагая, что она на сцене и забывая, повидимому, что она — посреди базара.

— Да, да... — говорит Авремка. — Вам эта роль подходит...

И он оставляет Грегера позади, а сам с актерами отправляется вперед...

По дороге он кричит в окно второго этажа к Борухуфлейтисту, единственному приличному музыканту в местечке.

Тот сбегает вниз, с очками на носу: он только что давал у себя урок музыки одному юноше, сыну богатых родителей.

Авремка представляет его актерам, и все вместе отправляются в сарай вольно-пожарной команды, где

имеется даже сцена с тремя стенками, а также кулисы и отверстие для суфлера, закрытое доской, — настоящий театр!..

Но по дороге Борух-флейтист чувствует какую-то раздвоенность — ни туда ни сюда: с одной стороны, надо итти, потому что он ведь уже идет... а с другой стороны — жена кричит ему из окна:

— Борух, что это ты вздумал ни с того ни с сего разгуливать? Ведь ученик тебя ждет...

Зато Авремка идет рядом с Розой — стриженой девицей — и говорит с ней о различных «штуках» (т.-е. пьесах). Он сам любит исторические пьесы.

— А вы дадите «Бар-Кохбу»? — спрашивает он.

— Конечно, конечно.

— А «Деньги, любовь и позор»?

— Да, конечно.

— А «Бабушка с внучкой»?

— Вы варшавянин? — спрашивает она.

— Нет, здешний. А почему вы об этом спрашиваете?

— Потому что у вас есть склонность к сцене. Я вижу — вы знаете столько пьес...

Авремка доволен этим и вполголоса напевает песенку.

Осматрев сарай, вычислив, сколько публики может он вместить, директор спрашивает, у кого можно снять этот театр.

Тогда Авремка, извинившись сначала перед Розой, а затем перед другими актерами, отправляется вместе с директором в магистрат и обращается прямо к бургмейстеру.

Тот отвечает «нет», но, после настойчивых просьб, он советует им итти к начальнику вольно-пожарной команды, — авось тот позволит.

Они приходят к владельцу аптекарского склада, но тот задает один единственный вопрос — на каком языке они будут играть?

— На еврейском, — отвечает директор.

— Тогда нельзя, — говорит тот.

— Что значит? Закон такой есть?

— Нет, закона нет. Но мы так решили на заседании...

Тут дело плохо. И они так и стоят на рынке, унылые и задумчивые...

Авремка делает почти трагическую мину. Он стоит, скрестив руки на груди, как настоящий «актерщик».

— Нехорошо.

— Что же тут делать?

Делают то же, что и в других городах при таких же обстоятельствах: играют в комнатке драматического кружка.

И набились в эту комнатку и стар и млад, даже сам новый вахмистр пришел. (Грешно жаловаться, — он был не хуже Ландсмана.)

Когда артистки показались на досках, уложенных на два толстых круглых бревна, дабы сцена получилась выше, — бревна вдруг раздвинулись (может быть, оттого, что они были круглые)... И «Черная Анюта», играющая обыкновенно роли матерей, — не успела оглянуться, как очутилась на полу.

Но ведь упавшему сам бог помогает...

И вот входит на «сцену», уж тогда лежащую на земле, на одном уровне с полом... сам вахмистр, своею собственной персоной...

Ему, вахмистру, очень уж понравился краешек белых дамских панталон, показавшийся из-под «Анютиной» юбочки; юбочка эта и без того была несколько коротка.

И он собственными глазами соизволил лицезреть две пухлые ножки, которые лежали, бедные, в белых панталонах, пораскинувшись. И вахмистр подошел к ней и сказал:

— Приходите-ка завтра ко мне, и мы уж поговорим насчет сарая...

А на завтра в тех же афишах, развешенных еще вчера, было приписано:

«Представление происходит в сарае»...

ГЛАВА XIII

Успех был огромный, превзошедший все ожидания. Вчерашнее «представление» в сущности было прелюдией к настоящему представлению и не означало «провала»: повидимому, падение Анюты произвело определенное впечатление и на местечковую молодежь...

И на следующий день уж с утра можно было видеть доказательства этого успеха: даже дети не спали; они тащили стулья, а Пиня Грегер уж вошел в азарт: его «трещотка» раздавалась по всему рынку и по всем углам и закоулкам местечка.

Тут даже наших самогонщиков разобрало. И Маленький Мойшелэ сказал:

— Пусть будет, что будет, а в театр я должен сегодня пойти.

И только готова была «варка» каких-нибудь пяти литров спирта, как он поспешил домой, оделся «по-царски» и отправился в театр.

Пожарный сарай был великолепно иллюминован. Все пожарные повозки с насосами вывезены и стоят на дворе, выстроившись дышлами в ряд, подобно солдатам... Внутри, возле самой стены, остались одни только голые лестницы, теперь сверху донизу усеянные ребя-

тишками. Надо правду сказать, — эти ребятишки честно заработали право на «свободный вход»... к лестнице: они немало потрудились в этот день.

Где-то в самом углу помещен еще маленький буфетик и при нем — девушка, и трудно определить — кто из них шире...

Скамьи стоят рядами, и на них представители трех различных культур: «Общество псаломщиков», «Талмуд-тора» и «Библиотека»... И сидит на этих скамьях самая разношерстная публика или — как любит выражаться Ичелэ — «пряник с луком»...

На самых передних скамьях сидят: Файвка, Авремчэ, сын Велвеля, Берче, Касриэль Белый и — совершенно неожиданно для всех — Мендель тоже. Его, должно быть, насильно затащили сюда, и он сидит все такой же задумчивый и безмолвный...

Сидит тут и Гройнем с женой (с настоящей женой), и Мойшелэ, и много-много других.

Но из среды всех выделяется, сияя своими золотыми перстнями и браслетами, Мирка-одесситка. Прическа у нее самая причудливая, и дамская парикмахерша местечка, специалистка по части париков для молодых дамочек, внимательно присматривается, — изучает чудо изобретения. Она в широкой черной шелковой блузке со складками; сквозь складки протянуты зигзагообразными линиями белые ленточки, тоже расшитые бриллиантиками. На обнаженной шее у нее широкий серебряный шнурок, спереди запирающийся большим замком и тоже усеянный блестящими камешками.

И ослепляющий блеск исходит от Мирки, и сверкающие лучи распространяются от нее во все стороны, словно от солнца. Сидит она впереди, на одном из первых стульев, и лучи, исходящие от нее, тянутся по

всему залу, вплоть до задней стены, где стоят лестницы.

И молодежь впивается в нее глазами. Но Файвка не обращает на это никакого внимания: ничто в ней не интересует его, кроме ее танцовальных способностей...

Маленький Мойшелэ вышел из своей мрачной и сырой самогонной «фабрики». Он сидит по левую сторону Мирки, глядит на нее и готов, кажется, что угодно сделать для нее...

Но вдруг все исчезает. В один миг глаза всех отрываются от «одесского солнца» и переносятся туда, где только что взвился занавес.

По сцене кружится Роза в коротких, плотно обтягивающих ногу штанах, в цветной блузе с цветным поясом, с хлыстиком в руке.

У молодежи вскружилась голова, и они летят, как бабочки на огонь... Мужья забывают про своих жен, а председатель библиотеки Михала, у которого есть излюбленное словечко для обозначения всего, что ему нравится, именно — слово «самая старшая», — и тут повторяет про себя:

— Эта, должно быть, самая старшая из девушек...

Но Мойшелэ прямо зачарован. Неужели он может глядеть теперь, неужели он может помнить теперь эту Мирку-одесситку? Неужели он может чувствовать теперь ее руку, которая заслоняет ему чуть ли не половину лица?.. И где это он теперь?.. Неужели в сарае — в пожарном сарае их местечка?..

А Роза, видя, что публика уже стала такой, какой публика должна быть, — как повернет головкой да как стрельнет сильно подведенными глазами, — и ноги начинают кружиться в легком танце!

Публика заревела, как стадо быков... и в этом крике ничего не было похожего на аплодисменты.

А Роза кланяется и делает публике реверансы, крутя правой ногой совершенно так, как Файвка в тот раз, когда он в Варшаве перед фонарем завел разговор с тремя девками.

Вот что, вот что здесь делалось!..

А Мойшелэ? Он сидит тихо, с опущенными глазами, и никого и ничего не видит и не чувствует, кроме «американки», хоть занавес уже давно опущен. Вот она идет... вот стоит... вот кружится... вот поднимается... И оч забывает обо всем на свете... Что ему его «фабрика»? Что ему жена и дети? Он не слышит даже обращенного к нему голоса Авремки. Но тот хватает его за плечи и спрашивает, почему он не хочет пойти за кулисы и пожать руки артистам.

И сидит теперь «американка» за сценой, положив ногу на ногу, бьет себя хлыстиком по колену и ест шоколадку, которую Мойшелэ поспешил принести ей из буфета.

Урка вертится там еще с утра, как молодой жеребенок. Теперь он то-и-дело вбегает сюда, глядит на некотором расстоянии на «американку», присматривается к ее плотно обтянутым ногам и убегает, мотая голсвой и испуская лошадиное ржание.

Тут входит за кулисы и сам вахмистр. Он останавливается возле ее стула и говорит:

— Да, да, это было красиво! Да, да!

При этом он также все время глядит на ее штаны. Затем он начинает покручивать усы и тут же решает про себя, что в дальнейшем он будет приглашать к себе для бесед насчет сарая не ту, что «с большим ртом», но только эту «американку»...

Мойшелэ при виде вахмистра отодвигается в сторону:

— На кой чорт он мне здесь нужен?

Затем он приглашает всю труппу к себе на рюмку водки.

Директор, понимающий толк в таких вещах, отзывает Розу в сторону и шепчет ей на ухо:

— Видишь, этот «Дуля» втюрился в тебя... Возьми его крепко в свои руки... Он, повидимому, не бедный человек...

А в зрительном зале во время антракта сидят молодые люди и уж распевают вслух только что услышанные песенки. Хором управляет Ичелэ при содействии Файвки, и получается своего рода «театр в театре».

Дамы, о дамы!
Как прекрасен ваш взор!

И вдруг раздается голос Авремки-артиста:

— «Занавец» уже раздвигается.

Борух-флейтист снова берет инструмент в руки, надувает обе щеки, и страшный свист разносится вдруг по всем уголкам залы.

Наступает тишина, снова глаза всех впиваются в Розу — в «американку».

У некоторых из присутствующих, с Авремкой-артистом во главе, зарождается в этот вечер блестящая идея; эта идея встречает сочувствие среди «руководящих кругов» здешней библиотеки, и они решают между собой — сегодня же, после спектакля, поговорить с директором насчет постановки пьесы совместно со здешними любительскими силами...

Один только Пиня Грегер стоит здесь и глядит на сцену иными, совершенно иными глазами. Он, правда, смотрит, как и все, и видит то же, что и все... Но вдруг — он сам не знает, почему и как — вспоминает он... о соли... о соли... Она все дорожает.

Он производит в уме подсчет своему состоянию, и тут ему приходит на ум, что было бы очень хорошо, если бы он несколько недель поторговал солью... Он заработает несколько сот марок... Добавит к ним те несколько сот марок, составляющие его теперешний капитал, и тогда он уж в состоянии будет заарендовать сад.

Он мысленно перебирает всех тех, кто, по его мнению, годился бы в компаньоны, и в конце концов приходит к заключению, что более подходящего компаньона, чем Михала, не найдешь.

«Н-ну, — думает он, — что было, то пропало... Соль — это открытое дело, и стоит тебе ее привезти, так сейчас же получаешь за нее наличными деньгами...»

Так он заканчивает свою мысль.

И вот стоит он, и на лице его написано полное самодовольство. Он поправляет галстух, сегодня надетый ради торжественности.

А других мыслей в помине нет — не чета иным молодым людям!..

Пиня Грегер все равно имел славу скопца. Поглядишь на него, так он, кажется, парень шустрый — крутит и вертит, кипятится и волнуется... Но когда дело доходит до девки — тут он словно покойник...

ГЛАВА XIV

После первого представления «Американки» актеры пришли к заключению, что им нечего торопиться с от'ездом, совершенно нечего... Они сняли у Шмуэля-Горбуна часть подвального помещения, завесили бумажной занавеской маленькое окошечко, выходившее во двор, на одном уровне с землей, — зажили, что называется, на славу!..

Маленький Мойшелэ кой-когда еще берется за «варку». Но бывает и так, что, когда нужно присмотреть за печкой, чтобы не было недостатка в дровах, или, наоборот, чтобы огонь был не слишком большой, — он оставляет все на произвол судьбы, бежит в подвал Шмуэля-Горбуна и садится возле «американки». Он вынимает тогда бутылку и рюмочку, ставит на стол кой-какое угощение, смотрит ей в рот и бесконечно рад, когда она выпивает еще рюмочку или с'ест лишний кусочек...

Иногда, когда они сидят наедине и кровь заиграет в нем, он придвигается к ней вплотную и начинает обнимать и целовать. Она не протестует. Это придает ему храбрости, и, полный восторга, он поднимает ее и усаживает у себя на коленях. А она все еще не протестует.

Но когда глаза его начинают наливаться кровью, толстые усы начинают сами собой шевелиться, а он сам, встав на ноги, начинает беспокойно озираться по комнате, — тогда она легко и непринужденно вынимает свои руки из его рук, переходит на другую сторону стола, ближе к окошку, и ни с того ни с сего заводит вдруг разговор о театре, о разных ролях, о различных городах, в которых она уже перебывала... И она уже не подпускает его на близкое расстояние.

Директор нередко застает их в таком положении, и, видя, как Мойшелэ сгорает от любви, — он потом, после его ухода, начинает с ней толковать об этом:

— Этот остолоп, я вижу, влюблен по-уши. Но, понимаешь ли, Роза, с такими молодчиками надо уметь обращаться... Все, что угодно, но только... понимаешь...

— Провались ты сквозь землю, — слышит он в ответ. — Я сама знаю, что мне делать. — И она отворачивается от него.

Злость берет ее, глядя на директора.

«Подумаешь! Много «сборов» имел бы он без меня?»

И она решает разведать у Мойшелэ, как велико, примерно, его состояние. Может быть, она сумеет сама «заложить труппу», сама сделается директрисой театра...

И с тех пор, как в ней созревает это решение, она позволяет уж Мойшелэ гораздо больше того, что она ему раньше позволяла. А он теряет рассудок.

«Не иначе, — думает он, — как она в меня влюблена...» И он убежден, что еще один такой день, еще два дня — и...

И он начал откармливать ее лучшими яствами. Каждый вечер, после того как она возвращается от коменданта «с беседы насчет сарая», — уже приготовлено для нее четверть гуся с белой булочкой; за водкой тоже, конечно, остановки нет.

И они пьют и едят, и у «американки» появляется краска в щеках... Под белым пухлым подбородком ложится какая-то линия... А груди становятся упругими и выпирают из блузки...

А компании тоже немало достается благодаря ей. Нередко этот четырехфунтовый белый хлебец, приносимый Мойшелэ, так быстро тает под их зубами, что они сами не знают, куда он делся... Тогда они посылают Федора (он у них пишет афиши) в пекарню, а так как Федор принципиально не признает сдачи, то он покупает хлеб на все полученные деньги... А когда Мойшелэ прибавляет к этому еще бутылку коньяку, то вся компания дружно налегает на рюмочки.

Так Мойшелэ и душой и телом ушел в подвал. Доходит до того, что Ицхок-Йойна и Иосиф Лялька исключают его из компании. Тогда он уж совсем, ни

на шаг не отходит от труппы: он ест с ними, спит с ними и вместе с ними отправляется в театр.

А Авремка-артист идет и фантазирует, как он вместе с труппой раз'езжает по городам, «выступает» на сцене, поет песенки, даже такие, которых он и не знает.

И еще долгое время оба мечтателя витали мыслями в заоблачных мирах, пока их жены не заставили их наконец очнуться от сна. Обе они сошлись вместе, каждая со скалкой в руке, больше они уж не в силах были выдержать этого, и отправились к Шмуэлю в подвал. Они заглянули в маленькое окошечко, но ничего не увидели, так как оно было занавешено бумажной занавеской. Тогда они прямо подошли к двери, открыли ее и, сойдя несколько ступенек вниз, сразу очутились среди весело поющей компании актеров; те пили, жрали и сидели, обнявшись, в таких интимных позах, какие редко увидишь даже между мужем и женой...

Увидели мужья своих жен, и ахнули: в глазах потемнело, щеки стали белее снега: ведь ясно, что они, жены их, пришли сюда, разумеется, не на театральное зрелище.

И скалки сейчас же загуляли по головам, и крики и вопли через открытую дверь полетели на улицу и на базарную площадь. Сбежался народ, хлынули парни, девки. Еще немного — и разразился бы грандиознейший скандал.

Но скандала не произошло, и мужья обязаны этим исключительно трениям и недоразумениям, происходившим вечно между благочестивыми евреями местечка и «билитеей».

Эта библиотека, разрешенная немцами с легким сердцем (что им это стоит?) и бывшая единственным местом для времяпрепровождения местечковой моло-

дежи, — эта библиотека была бельмом на глазу набожных евреев местечка.

А на что только благочестивый еврей не решится, лишь бы не допустить до греха и светопреставления?.. И полетели, куда следует, прошения, заявления, доносы, пока наконец подействовало...

И вот, в самый разгар скандала, когда скалки уже гуляли по головам несчастных мужей, — заварилась такая каша, и началась такая смута в местечке, что оно разделилось на два враждебных лагеря, готовых каждую минуту с ножами наброситься друг на друга.

Вот, например: Файвка, Берче, Янкель, Ичелэ — с одной стороны, а с другой — реб Вова, раввин и еще несколько «почтенных» обывателей.

Оказывается, что только что пригласили в магистрат к бургмейстеру Шмуэля, сына Мейты, и там ему прочитали приказ уездного начальника о том, что библиотека закрыта, а потому он, Шмуэль, должен ее запереть, а ключи отнести в магистрат — сам собственными руками запереть и отнести ключи...

И обида была слишком велика.

А Пиня Грегер с такой быстротой, на какую он один только способен, растрезвонил это по городу и дал знать всем членам кружка, чтобы они прежде всего собрались в помещении библиотеки. Когда все были в сборе, тогда только Пиня выступил во всем блеске своего красноречия:

— Я сразу понял, что они что-то замышляют против «библиотеки». Не то — какие-такие дела в уездном управлении у Юделя-самогонщика, раввина и Урки-дозора! Я знаю, какие у них там дела! Но чтоб им так долго жить на свете, как долго мы все это будем сносить.

Он, повидимому, готов был говорить без конца, находясь теперь в том возбужденном состоянии, когда хочется треснуть по башке, вышибить зубы и прочее, и прочее.

Но тут на трибуну поднялся первый председатель и с печальной миной подтвердил предположения Пини:

— Да, я должен констатировать этот факт, о котором говорил наш товарищ. В то же время я вынужден просить всех товарищей оставить зал. Я должен немедленно запереть его, а ключи отнести в магистрат.

Поднялся вихрь беспорядочных криков.

— Созвать общее собрание! — кричала часть членов.

— Делегацию в Варшаву! — требовали другие.

— Да, да! Необходимо поехать в Варшаву!

— Нет, в уезд.

А Грегер, разгоряченный, кричал:

— Головы им всем надо расплюснуть!

Но больше всех горячился Файвка.

— Как? Наш зал они станут закрывать? Огонь им в печонки! Я вот только сойду, так они сейчас же останутся без «рюмочек» *.

Так молодежь пришла в дикую ярость и готова на все.

И присутствие здесь Менделя было лучшим свидетельством того, как вся молодежь была задета за живое. Мендель, который нигде не показывался с того времени, как приключилась та история... Но теперь щеки его зарделись живительной краской, и он уж тоже начинает вмешиваться в разговор и говорит к делу, так что товарищи несказанно удивляются и

---

* Т.-е. он донесет, что они занимаются выделкой самогонки. *Прим. перевод.*

рады были бы завязать с ним какой-нибудь разговор... Но только не сейчас... теперь не время...

Несчастье на их голову — на этих «благоразумных» евреев! Посмотрите, сколько беды они нам натворили!..

А Мехель, второй председатель, или вице-председатель, уже по меньшей мере двадцать раз звонил в колокольчик, и теперь он говорит:

— Мы понимаем, чьих это рук дело! Нашлись такие людишки, которые побывали, г д е следует, и сказали, ч т о следует. Одним словом: доносец!.. Ну что ж?.. Согласны вы с тем, что здесь имел место донос?

— Да! — отвечают все.

— Тогда мы самым энергичным образом протестуем против доносчиков, против этой черной клики! Все вы согласны?

— Да, да!

— В таком случае надо избрать делегацию. Делегация должна немедленно поехать в уездный город, подать там прошение, об'яснить в чем дело, и хлопотать об открытии кружка. А если это не поможет, то надо поехать в Варшаву, итти по всем союзам и кружкам, искать каких-нибудь средств, — словом, действовать. Но прежде всего я хочу заметить, что никто из нас не смеет выступить на словах или предпринять какие-либо действия, пока делегация не возвратится. Тогда мы обсудим, что надо делать. Ну, что ж? Все вы согласны?

— Да, да, да! — ответили все троекратно.

Но Пиня уж делал какие-то знаки своим товарищам, а те отвечали какими-то таинственными гримасами...

Один только Мендель стоял неподвижно, покусывая зубами нижнюю губу.

ГЛАВА XV

— Отец! — воскликнул Мендель, обращаясь к отцу. — Они закрыли нашу «библиотеку». Отец, выйдем-ка на улицу.

— А мне-то что до этого?— ответил Пантель. — Какое мне дело до этого?

— Но мне есть до этого дело! Отец, ты в свое время много знал насчет кружков, насчет того, чтобы собираться вместе, сидеть среди «хозяйских» детей и слушать, как там читают!

Пантель глядит на сына и не может понять, что это с ним вдруг стало. Уж сколько времени, как от него ни слова не услышишь, разве если спросишь его о чем-нибудь.

«Не иначе, — думает про себя Пантель, — как он уж начинает выздоравливать. Но почему он ни с того ни с сего говорит о кружках! Какое ему до них дело?..»

А Мендель продолжает:

— Других забот у них не было кроме этого? Обычно они, кажется, шарахались от какого-нибудь пустячного словечка, а теперь так расхрабрились, что пошли доносить? Отец! Выйдем-ка на улицу!

— О-го-го! — вбегает Урка. У Ехиэля только что «накрыли»!.. У Ехиэля!

— Так и надо! — кричит Мендель. — Все они провалятся сквозь землю. Кружок должен быть открыт! — И он готовится к выходу.

— А Юдель с Вовой, — продолжает рассказывать Урка, — подходят к Файвке и говорят ему: «Удар пусть разразится над вашей головой». А Файвка отвечает: «Мы еще не знаем, над чьей головой разразится удар»... Юдель начал его ругать, а Файвка как смазнет его по щеке, так Юдель сейчас же выплюнул один зуб...

— Так, так, — прерывает Мендель.

— Ну, — заканчивает Урка, — Файвку взяли да засадили в кутузку.

— Так, — повторяет Мендель, и он уже одной ногой за дверью.

— Стой! — удерживает его Пантель за плечо. — Кто, говоришь ты? Юдель с Вовой? Стой! — тащит он обратно Менделя, который старается вырваться из его рук, полагая, что отец не хочет выпускать его на улицу. — Стой! Я тоже иду!

Менделя это очень радует, но особенно доволен Урка, предчувствуя уже побоище. Он пляшет по комнате, становится на голову возле стены и успевает перекувыркнуться несколько раз, пока отец набрасывает на себя куртку.

Через минуту вся базарная публика видит уже Пантеля, идущего посредине, а его два сына идут по обе стороны его. Он подходит с ними к какой-то кучке и останавливается. Видят они, как подходит слепой Гройнем, услыхавший, что его будущего шурина засадили. Гройнем держит руки в карманах брюк, все лицо его горит, а его слепой глаз дрожит и трепещет, словно крылышки птички, когда ее держат за ножки головкой вниз.

Подойдя к кучке евреев, окруживших Юделя, он останавливается:

— Реб Юдель, — говорит он, — чтобы мне Файвка немедленно был освобожден! Слышишь?

Пелта, дом которого находится на углу базарной площади, увидев Пантеля через окно, ковыляет сюда на своей деревяшке и прибавляет еще от себя:

— Как? — кричит он. — Где увидишь такое в России? Вот там-то молодежь — в России! О-го! Берегись, реб Юдель!..

Затем подходит к ним Янкель Чап, который еще издали сплевывает себе на руки и ладони потирает.

Наконец подходит и Касриэль Белый, и Муля, и Авремчэ, сын Велвеля, с Берче — за последнее время оба они очень привязались друг к другу. И уж раздается голос Пини:

— Слышите? Кровь прольется по улицам! Что вы думаете? Это вам так гладко сойдет?

Видят те евреи, что компания растет, и начинают понемногу ретироваться назад. И находится уж несколько человек из среды «хозяйских» евреев, убеждающие своих:

— К чему вся эта затея? Очень это нужно было...

А тут подходят булочники-хозяева, все евреи в красивых халатах, с красивыми бородами. Они подходят к раввину с криками:

— Рабби! Эти парни говорят, что они обольют тесто керосином, или подошлют немцев... А тут тесто уж подымается, рабби!..

Одновременно с этим к раввину приходит известие насчет Ехиэля. У «банщика» снова уж делают обыск. А бедняки вбегают с криками:

— Гвалт! Чего вы на нас насели? Откройте им их «билитеи»! Вам, видно, горя мало, что не будет хлеба! У вас наготовлены полные мешки с мукой, — так у вас уж будет булка... но мы — нам нужен хлеб!..

Видит раввин, что заварилась каша. А в сущности говоря, чего он хотел?.. Закроют им их «поганище», — тогда они снова вернутся под крылья святой веры, и снова вознесется к господу из его святой обители голос святой торы его... Что в этом плохого? Но теперь, видя, что тут делается уже с первого

дня, он велел шамесу * пойти и позвать «ихних людей»: услышим, мол, что они скажут...

Между тем делегация вернулась из уездного города. Там делегатам сообщили, что причина закрытия их кружка заключается в том, что там делались очень неприличные вещи... такие неприличные, что у них, немцев, даже язык не поворачивается, чтобы назвать это настоящими именами...

Делегаты, конечно, ответили, что это — клевета, почему они и требуют производства следствия по этому делу... Но противная сторона, повидимому, была сильнее: делегации дали понять, что ничего для них нельзя сделать... Они поехали в Варшаву, но там им велели только подать «прошение», что они и сделали...

Теперь они возвратились со слабыми надеждами, и это возбуждение в местечке еще больше удручало их: они чувствовали себя словно побежденные и не знали, что им теперь предпринять. У «властей» те сильнее — в этом они уж теперь убедились. Остается только ответить на донос доносами... Но допустимо ли это?.. И они решили до поры до времени молчать...

Но компания, под влиянием Пини, слишком уж далеко зашла... вышла, как говорят, из оглоблей... Невозможно было удержать ее... Поэтому, как только явился к ним шамес от раввина, они сейчас же отправились к нему, оставив на улице несколько надежных людей, чтобы предохранить от дальнейших столкновений.

У раввина, как водится, прежде всего велись общие дебаты по поводу «билитей»: к чему они совсем нужны? И зачем эти «дома развлечений», называемые

---

* Синагогальный служка, исполняющий обязанности курьера при раввине.

театрами на языке неверных, которые противны законам веры...

Говорили и, само собою разумеется, горячились и в конце концов покончили на том, что раввин будет стараться, чтобы им обратно открыли их «дом».

А там, на большой базарной площади, толпа вокруг Пантеля все разрасталась, а вокруг Юделя — все уменьшалась и таяла. Каким образом Пантелю удалось одержать такую победу над Юделем, — этого никто не мог бы об'яснить. Но ясно видно было: вокруг Пантеля компания—огромная, а вокруг Юделя—маленькая.

А слепой Гройнем, видя, как Юдель старается увильнуть, повторяет:

— Реб Юдель! Чтобы мне Файвка немедленно был освобожден!..

И он держит в руке кусок железа, который блестит у него между пальцами. Взгляд Гройнема становится все суровее и свирепей. Не получая ответа на свой вопрос, он в третий раз восклицает:

— Реб Юдель! Чтобы Файвка мне был немедленно освобожден!

И что же? Не побежал разве реб Юдель сейчас же в комендатуру? По дороге он все вытирал рот красным платком, снятым со своей шеи.

Уже у самых ворот комендатуры ему идет навстречу жена и четыре дочери с возгласами:

— Где мой муж? Где папа?

И что же? Разве Юдель не оттолкнул их от себя, не вскочил единым духом на ступеньки, не просил коменданта выпустить того парня, потому что он ни в чем не повинен?.. А зуб — это он сам себя ударил.

Выйдя из кутузки, Файвка первым долгом бросился в об'ятия Гройнема, а узнав, что если бы не Гройнем,

то он бы еще долго сидел в заключении, — он еще раз бросился в его об'ятия и поклялся, что сейчас же после лета, как только у него будет свободное время, он справит свадебку... Гройнем в восторге в третий раз бросился ему в об'ятия, а затем оба, обняв друг друга, вышли на базарную площадь...

Заторопились обыватели по домам, и каждый кинулся прятать свой товар: у кого это нет контрабандного товару?.. Как же? Разве они не знают, на что способны такие господа?

Молодежь тоже стала расходиться по домам, узнав от членов правления о том, что произошло у раввина. На базаре остался лишь Пиня, у которого кровь все еще не остыла, да Ичелэ-квартирмейстер, только что вышедший из дому после обеда.

Он вертелся по базару взад и вперед, останавливал всех встречных и сообщал:

— Об'явлено перемирие.

И оба молодых человека, вертевшиеся на базаре, были похожи на двух уцелевших генералов на поле брани. Базарная площадь опустела.

ГЛАВА XVI

Местечко быстро успокоилось. Благодаря стараниям раввина приказ о закрытии библиотеки был вскоре отменен, и молодежь торжественно встретила это известие.

Надо, однако, правду сказать — это была уже не та радость, которую они испытывали в день открытия библиотеки, когда они с музыкой (Боруха-флейтиста) ходили по улицам, а в самой библиотеке все волновалось и шумело бурным потоком. Это уж не прежние радостные лица, в белых праздничных галстухах,

с цветами в петлицах. Но все же было очень оживленно и весело.

Но от всей этой кутерьмы местечку оставались в наследство бесчисленные доносы, летевшие с обеих сторон, и это несколько отравляло радостное настроение и нарушало цельность торжества.

Вследствие этих доносов в местечке стали появляться разные «агенты» немецкой власти. Ибо если до этих доносов все было гладко и хорошо, то это доказывает, что местная полиция годится ко всем чертям, и, следовательно, надо прислать к ним других... А так как эти «другие» были назначены свыше, той самой инстанцией, куда сыпались все доносы, то это озлобило местную полицию — за что это местечко так очернило их в глазах высшего начальства...

И вот начали с них драть двойную шкуру: местная полиция — от гнева и озлобления, а приезжие потому, что для этого ведь их сюда и послали, так что евреи могли уж теперь сказать «прости» всем своим доходам и заработкам...

Немец — по природе спокойный и хладнокровный человек, но если уж его вывести из терпения, то хоть живым в землю ложись! Каждый день новая охота, новая ловля, каждый день новые бедствия, — и шныряют, и рыщут, и охотятся подобно хищным зверям: глаза пронизывают, глаза прокалывают насквозь, и смертельная опасность грозит тут на каждом шагу...

А когда немного успокоилось, охота приостановилась, и новые «ловцы» уж тоже «свыклись» — они стали буквально вытягивать жилы из спекулянтов... Выматывали последний грош, выжимали последние соки...

И так тесно, так душно стало в местечке, точно веревку накинули на шею всех его обитателей.

— Что-то будет, что будет? — охали и вздыхали евреи.

Хорошую кашу заварили этими доносами... словно закопали в землю один другого!..

И словно тяжелые тучи сгустились над местечком, и такая тоска одолела всех, что начали уже вспоминать прежние времена, до войны, когда можно было заниматься чем угодно и когда жилось так спокойно, так легко и счастливо.

Теперь все ходили с опущенными головами, бросили всякие дела, и даже Пантель прекратил свои поездки... Местечко отдыхало.

В те дни в местечке появился странник, — старый, полуслепой, сопровождаемый маленькой девочкой с прелестными черными глазками. Оба остановились в первом же переулке возле какого-то дома и затянули песню. И песня заставила всех обывателей выйти из своих квартир и прислушаться. Вскоре этих певцов окружили парни и девушки, старики и дети, и толпа вокруг них все росла да росла — все местечко сбежалось.

При первых же звуках песни что-то оборвалось в сердцах слушателей, словно бы вдруг топором разрубили толстую броневую крышку, и слезы фонтаном вырвались оттуда — из глаз толпы. Долго, очень долго эти слезы были под броней, и никто даже не знал об их существовании.

Но вот пришел этот странник и звуками своей песни ударил по каким-то таинственным струнам этих людей, — и женщины и девушки стали подносить передники к глазам и носам. Углы искривленных губ дрожат, грудь вздымается, спазмы подступают к горлу, а мысли сплетаются со словами мелодии и улетают с ними вместе куда-то далеко-далеко, в заброшенные поля, где лежит сын, тоскующий по матери:

Птица черная, лети средь облаков, ой-ой!
Птица черная, лети средь облаков, ой-ой!
И маме передай моей, что я здоров, ой-ой, ой-ой!
И маме передай моей, что я здоров, ой-ой, ой-ой!

И при звуках этой песни поднимаются вопли и рыдания словно по покойнику. Затем, еле сдерживая рыдания, они продолжают слушать:

А там в глухих лесах и в поле под ракитою, ой-ой!
Солдатики лежат убитые, убитые, ой-ой!
Нет ни отца, ни матери при них, ой-ой, ой-ой!
Ни брата, ни сестры, ни близких, ни родных, ой-ой, ой-ой!

И тут поднимаются бурные вопли и рыдания.

А там в глухих лесах и в поле под ракитою
Солдатики лежат убитые, убитые.

И вся улица, казалось, зашаталась при этих словах. Даже дети, у которых еще раньше набегали слезы на глаза, не могли уж больше удержаться и, уткнувшись личиком в юбки матерей, огласили улицу рыданиями.

И все местечко сейчас же переняло эту песню, и на каждом шагу, куда ни повернись, — всюду раздаются слова знакомой мелодии. Даже старушки, лежа на одре болезни и смежая глаза, шамкают про себя:

А там в глухих лесах и в поле под ракитою, ой-ой!

А у матерей этот источник слез, раз открывшись, не мог уже больше успокоиться и забил полным ключом. Подходит мать в какой-нибудь уголок своей комнаты, и попадется ей на глаза шапка, пальто или сапоги сына, — и она подходит к окну, осматривает каждую мелочь и обливает вещи горючими слезами, а на сердце ложится камень, тяжелый камень, точно все бремя мира сосредоточено в нем...

А приезжает кто-нибудь из плена, так все бегут к нему расспросить насчет брата, насчет сына, потом

уходят оттуда с опущенными головами, орошая всю улицу слезами.

Сидят евреи в субботу за столом, и тогда только видно, что в доме какая-то пустота — одни старики да женщины, которые сидят согбенные, словно горюя о чем-то... А в домах, где были одни сыновья, сидит только парочка старичков, «дед да баба», и когда они поют застольные песни — старый надтреснутый голос как-то теряется, а глаза в это время глядят куда-то далеко-далеко, за моря и пустыни дальние... Там — представляется им — бегают их дети с ружьями в руках... И нередко такие песнопения заканчиваются рыданием, и старик встает из-за стола, не окончив трапезы...

А у старухи тоже как будто стягиваются легкие... ни капли воздуха туда не может проникнуть... дыхание спирает... глаза вылезают из орбит... А на следующее утро находят кого-нибудь в кровати спящим тихо-тихо, словно голубок...

По субботам в предвечерние сумерки из раскрытых окон несутся заунывные, душу раздирающие звуки песнопений, и эти звуки окутывают и заволакивают, и убаюкивают сердца тоскующих женщин.

И женщины, вне себя от охватившей их смертной тоски, становятся у окон, глядят на предвечернее небо и видят там геену огненную, которая горит ярким пламенем; и им представляется, что в багровых далях они видят нечто такое, что им и знакомо и как будто незнакомо; они вспоминают о ночах бессонных, проведенных у колыбели их сыновей, о днях голодных, полных забот и лишений.

Так стоят они долго-долго, пока, усталые и обессиленные, не опускаются на стулья, погрузив головы в колени, словно в дремоте.

Но они не спят, и над головой их как будто порхают крылья ангела смерти, и они видят наяву в состоянии полудремоты такие вещи, которые далеки-далеки от них и которых нельзя увидеть наяву... Это не сон, это — истома сердец, полудремлющих под звуки мелодии материнской любви; так дремлет земля глубокой осенью, когда первые нежные снежные пушинки ложатся на нее.

ГЛАВА XVII

Странные слухи стали разноситься по Польше. Рассказывали о каком-то офицере, который будто бы выразился, что теперь, дескать, будет *нехорошо*.

Что будет *нехорошо*, этого он никому не говорил, но чувствовалось по всему, что в Германии что-то не все гладко. Об этом, конечно, не говорят, да и в газетах об этом не пишут, но это чувствуется в воздухе.

Так, с внешней стороны, все осталось по-прежнему. Войска по-прежнему маршируют по дорогам Коронной Польши и по ее столице; каждое воскресенье после обеда раздаются звуки военной музыки... Разрешения на проезд и прочие формальности ведутся все в том же строгом порядке; реквизиции тоже ведутся с таким же рвением, как и прежде, — пожалуй, даже с еще бо́льшим остервенением. Немцы стали как-то враждебнее относиться к местному населению, стали распущеннее и наглее, потеряли всякий стыд, — но больше ничего особенного заметить нельзя.

Дела в местечке, правда, несколько улучшились: снова принялись за «шмугель», а вместе с тем оживилась торговля. Если кого-нибудь накрывали, то он уплачивал штраф.

Ицхока-Йойну уже снова накрыли, на этот раз в доме Мойшелэ. Не так давно его накрыли в саду, и на нем

еще и до сих пор три срочных платежа по двести марок, а тут тебе новый штраф в две тысячи марок, не говоря уже об убытках в посуде и товаре. И что еще хуже — теперь уж они не хотят и слышать о каких-либо рассрочках, — в течение трех дней весь штраф должен быть внесен целиком. Завтра уж третий день, — что тут делать? Лейбель, сын Ицхока-Йойны, правда, хочет взять всю вину на себя и пойти «отсидеть» на место отца, но можно ли допустить нечто подобное? Как бы не так! Не видали разве, какими люди выходят из их лап?.. Но если не хочешь отсиживать, так надо платить. А где их взять? Плохо, очень плохо!

Ицхок-Йойна, правда, произвел уже с женой маленькое вычисление:

— Из одной «варки» выходит десять литров, а каждый литр дает десять марок чистой прибыли. В течение суток можно сделать четыре варки. Выходит, значит, так: десять раз десять составляет сто, да четыре раза по сто — выходит, значит, что можно по четыреста марок в день зарабатывать. Если бы можно было всю неделю поработать без помех, то можно было бы внести все две тысячи. Понимаешь?

— Но где ты станешь работать? — спрашивает Чипа. — У тебя — нельзя, у Иосифа — тоже; а у Мойшелэ ведь только что были. Разве снова — в саду. Но ведь там нас беспрестанно накрывали!

— Ой, — тихо отвечает муж, — чтоб нам так всем здоровенькими быть, как ты права: в саду можно было начать варить. Именно потому, что там столько раз накрывали, никому и в голову не придет, что мы там варим...

— Да, да, — говорит Чипа, — никому в голову не придет, только бы у Юделя глаза выскочили изо лба!

— Замолчи, баба этакая, что ты говоришь?

— Что я говорю?.. Да, он — «почтенный» еврей. Но как мне хочется дожить до радостей моих детей, так я убеждена, что вчерашний обыск у Мойшелэ, это тоже — его рук дело...

— Ах, что ты говоришь? А его разве не накрывали неоднократно? Что ты говоришь? Чтобы он пошел к немцу — не нашему брату — и сказал: такой-то делает водку. Да в жизни не поверю!.. Это враги его только могли придумать!

Так говорил Ицхок-Йойна, и в этих словах чувствовался все тот же старый Ицхок-Йойна, совершенно непохожий на других портных-конфекционистов, — одним словом: наш Ицхок-Йойна...

А через час все уже сидят в будке в саду, ставни наглухо закрыты, и пускают несколько фунтов дрожжей в заварочных котлах, наполненных Айзелэ водой до краев.

На закате дня небо стало покрываться тучами, и, когда солнце скрылось за горизонтом, стало сразу так темно, что на расстоянии нескольких шагов ничего уж не видно было.

Эта тьма была на-руку нашим самогонщикам: они считали это хорошим предзнаменованием и принялись за работу тихо и с видимым наслаждением.

Часы летели, вечер уж прошел. Настала ночь. Тогда они начали варить, и водка потекла, как они сами не ожидали: такая крепкая, что даже последние остатки имели не менее пятидесяти градусов крепости. Видно было воочию, что было начато в добрый час.

И они беседовали меж собой и делали расчет, что если и дальше так пойдет, то менее чем в недельный срок можно сколотить эти две тысячи марок. Говорили они тихо, почти шопотом.

Внезапно все затихают и замирают в своих позах, как заколдованные:

Лейбель, полустоя и полусидя у печи с поленом в руке, которое он собирался положить в печь; Ицхок-Йойна стоит у лампочки, глядя при ее свете на спиртометр; Иосиф Лялька лежит, вытянувшись на вязке соломы, подставив рот под охлажденную трубочку и готовый сделать глоток; Чипа, согнув колени, сидит у корзинки и собирается подняться с колен; Брайнделэ сидит на ступке и натягивает чулок вместе с подвязкой, которая не хочет держаться на колене; а Зорах-Айзелэ вообще стоит без всякого дела посреди комнаты, и руки его свисают, как пара паленьев...

Так они все окаменели и в течение минуты неподвижно стояли и прислушивались. Казалось, какой-то шум несется со двора. Вдруг раздается скрип. Тут все выходят из оцепенения, и смертельный страх овладевает ими.

— Гвалт! Гвалт! Немцы идут!

— А может, это Пантель приехал? — говорит Лейбель.

— Олух! — отвечают ему. — Ночью-то станет Пантель приезжать!

Но Лялька, который в таких случаях становится наиболее трезвым и здравомыслящим, прикладывает пальцы к губам и гасит лампочку. И такой мрак окутал их, словно каждому накинули черный мешок на голову; как раз в это время и дверца от печки тоже была закрыта.

И чудится им, что из мрака выходят разбойник и разные чудовищные звери с рогами, с огненными языками... Потому что в глазах еще рябило от мелькавших только что огней в печке... Но вдруг разбой-

ники и все эти чудовищные звери исчезают из глаз: вдруг из печи вырывается наружу пламя.

Шум все усиливается. Они еле сдерживают дыхание, и страх все нарастает.

Вдруг кто-то стучит в ставню с криками:

— Канальи! Уже снова за самогоном!

Узнают они голос вахмистра, и Чипа приходит в такое замешательство, что ей кажется, будто этот голос раздается уж у них в комнате.

— Какая там самогонка? Господин вах... — собирается Чипа произнести длинную речь, но натыкается зубами на пальцы Ляльки, которые он успел в ту же минуту сунуть ей в рот.

А вахмистр, мертвецки-пьяный, бешено стучал рукояткой браунинга о ставни — дребезжали и рассыпались стекла.

— Канальи! Откройте дверь, не то я перестреляю, как собак!..

Иосиф понял, что молчаливость ни к чему не приведет; поэтому он зажег лампочку и открыл дверь.

Вошел вахмистр в сопровождении переводчика: тот тоже дрожал — не то от страха, не то от холода. Узнав, с кем он имеет дело, вахмистр расхохотался и зашатался немного, но сейчас же встрепенулся, опершись рукой на кипящий котел.

Он так рассвирепел от ожога, что выстрелил из револьвера, не глядя даже куда. К счастью, никого в это время не было впереди него. Но самогонщики сразу почувствовали, что если они выйдут живыми из его рук, то они должны будут благодарить бога за избавление от смерти.

Те, кто взялся было за бочки, желая хоть что-нибудь спасти в полумраке, так и застыли в этой позе, а вахмистр, которого его собственный выстрел несколько от-

резвил, еще больше рассвирепел. Он стал угрожать Ицхоку-Йойне, что если тот немедленно не заплатит двух тысяч марок штрафу, он его застрелит тут же на месте.

Но у них нет своего состояния ни на один пфенниг. Все, что здесь теперь наставлено, — чужое, одолженное.

И они падают перед вахмистром на колени и плачут, рыдают горькими слезами, чтобы он сжалился над ними, чтобы ждал до завтра, а там уж что будет, то будет.

Но вахмистр и слышать не желает о том, чтобы подождать, и приказывает своему спутнику арестовать Ицхока-Йойну и отвести его в арестный дом.

Ицхок-Йойна помертвел от одного только слова «арест». И он обращается к своим, и голос его так слаб, как голос больного ребенка.

— Продайте все, что ни есть в доме! подушки и белье!.. продадим себя в «рабство ханаанское»... Но не передавайте меня в их руки...

Вахмистр в припадке гнева бьет и ломает все без разбора. Он сам выливает завар; рубит и ломает котлы и бутылки, — и когда вся разрушительная работа уже кончена, Иосиф Лялька вдруг сует ему в руку тысячу марок. Где и у кого он мог достать такую сумму посреди ночи, — этого никто не может понять. Но вахмистр гневно швыряет деньги назад и трясет Ицхока-Йойну:

— Вся сумма чтобы мне была!

И его уводят, его — бледного, трепещущего, качающегося на ногах, и он похож на человека, собирающегося свести счеты с жизнью.

Все бегут за ним вслед, попадая в навозные кучи, наталкиваясь на кусты, на песчаные пригорки.

Когда Ицхок-Йойна с обоими немцами исчезает за воротами магистрата, где находится также арестный дом и форточка в воротах закрывается за ними, все уходят обратно с опущенными головами и с засохшими слезами на глазах, как люди, которые возвращаются с кладбища, где они оставили прах близкого, очень близкого человека.

Туча на небе раскололась пополам, и из расщелины ее выглянула луна, подобная светлому оку великана. Она бросила взор на божий мир, осветила на минуту верхушки костела, озарила на мгновение дорогу возвращающимся обратно самогонщикам и снова скрылась.

Тучи снова встретились и слились воедино.

ГЛАВА XVIII

На рассвете все местечко пробудилось от сна. Всю ночь возле магистрата слышны были шаги многих людей.

Впоследствии любовница писаря комендатуры кому-то рассказывала, что из уезда беспрерывно звонили в эту ночь, и с двух часов ночи телефон не отдыхал ни минуты.

Еще с вечера рассказывал кто-то, приехавший из Варшавы, что там сильно поговаривают... Но о чем там поговаривают и какие там идут слухи, — этого никто толком не мог добиться.

Но во всяком случае, когда, очнувшись на рассвете и открыв ставни, население увидело, как немцы суетливо перебегают из комендатуры к вахмистру и обратно, а лица их разгорячены и озабочены, — тогда всем стало ясно, что тут что-то неспроста...

В течение каких-нибудь десяти минут чуть ли не пол-местечка высыпало уже на базарную площадь. Обы-

ватели собирались кучками и неистово размахивали руками, точь-в-точь как в тот день, когда над магистратом и базарной площадью показалось широко развевающееся праздничное немецкое знамя, а на воротах было вывешено официальное сообщение о заключении мира с Россией.

Но теперь нельзя было заметить решительно ничего такого, что дало бы хоть малейший повод догадаться, что здесь случилось. Комендантский писарь, молодой немец в очках, несколько раз прошмыгнул мимо базара, но на все обращенные к нему вопросы ничего не отвечал. Более того: он даже ни на кого не прикрикнул.

Внезапно под'езжает бричка вахмистра. На козлах переводчик правит лошадьми, на сидении — вахмистр и его помощник. Перед магистратом лошади останавливаются, и вахмистр посылает наверх своего помощника спросить только одно:

— От'езжать?

— От'езжать, — отвечает комендант.

И бричка тронулась по направлению к тому переулку, откуда идет шоссейная дорога, прямо к уездному городу.

Когда они проезжали мимо столпившихся людей, те заметили на бричке разные чемоданы и узелки, большие и малые. И все глядят вслед за от'езжающими, широко раскрыв рот, и с недоумением спрашивают друг друга:

— Что? В чем дело?

В это время из переулка, ведущего на вокзал, под'езжает крестьянская телега, и Матвей Ксёнжек, приехавший только что со станции, рассказывает новость, что в Германии — революция и все немцы удирают из Польши.

— У них революция, а царя Вильгельма сбросили с трона. А теперь все немцы удирают из Польши...

Между тем как он рассказывает эту новость, вырастают, словно из-под земли, кучи польских мальчишек. Они хватают камешки и бросают их вслед от'езжающей бричке. Один камешек попал в цель — прямо в вахмистра, другой ударился в заднюю стенку брички. Но бричка едет дальше все вперед, и вахмистр даже не оглянется.

Не стрелял, не побил, не велел даже арестовать... Лошади только помчались еще быстрее и вместе с бричкой скрылись из глаз...

Местечко недоумевало. Это что такое? В немцев швырять каменьями?.. При виде этого евреи уже круто повернули всем корпусом, кроме головы, готовые броситься в бегство... А тот — на бричке — нуль внимания!.. Должно быть, они потеряли голову — не иначе...

Матвей взбудоражил все местечко своими новостями. Теперь уже высыпали на улицу все евреи и христиане: мужчины, женщины, дети. Те, что состояли в пожарной команде, надели свои желтые куртки и медные каски и разбежались по всем улицам для охраны порядка. Из среды польских парней сейчас же выделяется человек двадцать в возрасте от шестнадцати до двадцати с лишним лет, и они маршируют по направлению к магистрату и останавливаются там, выстроившись в ряд, по-солдатски.

Сын Матвея, Янек, парень лет двадцати трех, побывавший уже в польских легионах, наблюдает за тем, чтобы никто не сделал ни одного лишнего движения. Но, видя, что из этого топтания на месте ничего не выйдет, он выбирает двух наиболее рослых парней и вместе с ними поднимается наверх в комендатуру.

Минут через десять они уже спускаются вниз с целой охапкой ружей и кортиков. Янек распределяет ружья между парнями, из которых некоторые кладут их на правое плечо, а другие — на левое... Когда все уж получили оружие и осталось еще несколько свободных ружей, то подходят другие мальчишки, помоложе, лет двенадцати-тринадцати, и им тоже раздают ружья, хотя они едва могут удержать обеими руками.

Затем Янек со своим отрядом отправился дальше, оставив возле магистрата караул из четырех человек, и вскоре возвращается обратно со знаменем, конечно, не таким, какое вывешивали немцы, и тут же начинает вправлять его в большие палки с кольцами, висящие над магистратом.

Когда знамя взвилось, тогда только местечко увидало... Гул поднялся на базаре, а знамя веет и вьется своими складками, словно реченька.

Один спрашивает другого:

— Что там за буквы?

— Это П. О. В.

— Что это означает?

Этого никто не мог угадать. Только спустя некоторое время узнали:

«Польска Организация Вуйскова».

В это самое время прибыли подводы из Варшавы, и приехавшая на них молодежь, знавшая уже про все новости, сразу высыпала на улицу. Они вертелись вокруг выстроившейся шеренги и с завистью глядели на этих польских парней, которые вооружены и которые теперь кажутся им совершенно иными.

Файвка уж не в силах удержаться: он должен во что бы то ни стало подойти к начальнику, командиру этого вооруженного отряда, и сказать ему:

— Янек, дай мне тоже ружье.

Но тот ничего не отвечает: он так занят, что не видит перед собой никакого Файвки, он даже как будто и не знает такого...

И Файвка возвращается к своим товарищам с сконфуженным лицом...

Немцы вели переговоры с новоиспеченными «солдатами», и немцам был обеспечен спокойный от'езд из местечка... Тогда они наскоро сложили свои вещи, и писарь комендатуры, который отдал свое белье прачке на другом конце базарной площади, отправился к ней в сопровождении одного солдата...

Несколько позже, около полудня, к базарной площади под'ехали несколько подвод и остановились возле магистрата. Сейчас же вышли оттуда все немцы, сели на подводы и уехали.

Когда немцы удалились, солдаты сейчас же бросились в комнаты комендатуры. Но Янек удержал их:

— Авось там минировано...

Тогда все моментально спустились со ступенек и, едва переводя дух, выбежали за ворота. Лишь очутившись на улице, они свободно вздохнули.

Только два храбреца отважились подняться наверх, и они основательно обыскали все комнаты. Тогда Янек был провозглашен комендантом города. В качестве такового он прежде всего счел своим долгом издать приказ:

«Всем разойтись по домам, не собираться толпами, соблюдать порядок».

Рынок мигом опустел.

Люди забились в свои жилища и, поглядывая на улицу через окна своих домов и через двери своих лавчонок, ждали, что покажет им ближайшее будущее.

Спекулянты все сидели в доме Пелты, и Пантель горячился:

— Что? Зачем? Ездить и докладывать еще деньги к поездкам? Лучше отдохнуть немного. Подождать неделю-другую, а там видно будет.

— Я боюсь, — отозвался Копель, — что незачем будет уж и ездить-то. Чем тут станешь спекулировать? Все ведь становится так дешево, чуть не даром!..

Тут Гройнем пристал к Файвке, как смола.

— Чтоб тебе очи повылезли! — говорил он. — Ну, Файвкелэ? Ну?

Файвка ясно увидел, что ему не отвязаться от этой смолы. Да к тому же это и смысла не имеет: «К чему тут откладывать?» — И он произносит громко:

— Гройнем-«Шлеп»! По-моему сыграй свадебку хоть сегодня!

В другой раз Файвка недешево отделался бы за этот комплимент, которым местечко наградило Гройнема; но теперь Гройнем как будто даже не расслышал этого «Шлеп» и думал про себя:

«Куй железо, пока горячо!».

Но «пшиятели» качали своими головами в меховых шапках, а Янкель — тот даже расхохотался:

— Издохнуть бы им!.. В такое время... Свадьба... Хи-хи-хи...

Но и слов Янкеля Гройнема тоже не расслышали. Потому ли, что он их просто пропустил мимо ушей, как комплимент Файвки, или потому, что в комнате уже его и след простыл? Он перебегал теперь от одного свата к другому, а сестра его Райчель стала всерьез готовиться к свадьбе...

Один только Пиня остался ни туда ни сюда. Теперешние обязательства окончательно сокрушили его, и он остался теперь, словно судно без руля среди вод. Где

вы увидите теперь Пиню? Где вы услышите от него хоть единый звук? Плохо теперь с Пиней!.. В другой раз при таких событиях — сколько бы он уж натараторил!..

И какой дьявол заронил в нем тогда, в театре, эту мысль — купить соль? К чему ему понадобилась эта соль? Не хватает ему разве соли?.. И вот он заключил компанию и на этот раз снова с Мехелем... Послал он Мехеля в Варшаву купить на тысячу марок соли, а сам остался в местечке подыскивать покупателя, который откупил бы товар, как только он прибудет сюда.

— Ах, лучше бы я сам поехал, а тот бы остался здесь!

Но уж видно суждено ему было испытать огорчения и понести убытки и чтобы дружбе его с Мехелем наступил конец.

Мехель купил соль у еврея-купца, старого торговца еще довоенного времени.

Но, с другой стороны, тот купец, которому Пиня продал эту соль и взял уже задаток, немедленно по приемке соли уже сказал:

— Мне кажется, что от соли чем-то несет...

— Что вы? что вы? — запротестовал Мехель. — Это ведь соль что называется! Это ведь... такой и не встретишь нигде.

Но когда все мешки с солью были уже свезены на склад и купец, распоров один мешок, попробовал соль, он воскликнул:

— Керосин! Воняет керосином!

— Мехель! — восклицает также и Пиня, отведавший соль, — что это ты купил?

Мехель растерялся вконец. Он попробовал раз, другой раз, третий, и от сильного запаха керосина у него чуть печонки не передернулись.

— Что это? — бормочет он. — Я ведь все-таки знаю, что соль должна быть хорошая...

А Пиня уже вошел в кураж. Он потеет, передвигает шпаку на голове и кричит, задыхаясь:

— Раз навсегда!.. Когда только ни вхожу с тобой в компанию, всегда имею такие неприятности... Но теперь ты у меня уж не выйдешь сухим из воды!.. Что это ты себе вздумал?..

И он хватает Мехеля за горло, совсем не на шутку... Жмет и давит его, так что тот начинает закрывать глаза, язык вылезает наружу и становится все длиннее, все шире... Лицо взбухает... и он начинает попятываться на ногах... Кто знает, не сделался ли бы Пиня настоящим убийцей?.. Потому что, когда он так держит и душит его, у него у самого лицо становится все багровее, и в глазах просвечивается необыкновенная радость... какое-то дьявольское наслаждение... И страшное желание овладело им — увидеть, как под его руками будет сочиться кровь Мехеля... Теперь, о, теперь Пиня уж далеко зашел! Колоть, рубить, жечь, брать шкуру вместе с жилами было бы еще для него недостаточным!..

Но во-время подбежал купец и спас Мехеля.

На рассвете Пиня вместе со всеми вышел на улицу, а затем, согласно приказу Янека, вошел в дом. Но он расхаживает уже, всунув голову в воротник, и в доме его имеется еще несколько евреев, которые беседуют о том, что будет дальше, и чего-то пугаются.

А Пиня? От него уж не слышно ни ползвука!..

Вдруг в местечке снова поднялась суматоха: новый комендант посетил арестный дом и, расспросив арестованных, за что немцы их посадили, он некоторых выпустил на свободу. Среди освобожденных был и Ицхок-Йойна, прибежавший домой с видом человека, в последнюю минуту вырвавшегося из петли.

Теперь все воочию убедились: воистину «перст божий» был в том, что вахмистр в ту роковую ночь не хотел принять тысячи марок, которые совали ему в руки... Таким образом в течение одной ночи они заработали тысячу марок...

После освобождения Ицхока-Йойны местечко несколько успокоились. Обыватели верили и надеялись, что прошли уже времена «штрафов», реквизиций, арестов и многих других несчастий подобного рода... Что все эти бедствия миновали и — всем хотелось так верить — на веки-вечные...

ГЛАВА XIX

Теперь все собрались к Файвке на свадьбу.

Пришли прежде всего все (кроме, конечно, Юделя-самогонщика), начиная с «банщика» и кончая маленьким Мойшелэ, который все еще тоскует по «американке» и до сих пор не может ее забыть. Он грезил о ней во сне и наяву, он стонал и вздыхал по ней, и в мыслях всегда сожалел об одном: «Он ведь был совсем близок... еще день... еще два»...

Пришли и тайные мыловары, хотя они в большей своей части принадлежат к хасидам, к настоящим хасидам... Но с Файвкой нельзя ссориться...

Были и товарищи Файвки, затем свойственники Гройнема со стороны жены — все сапожники, сколько только ни есть среди ее родни.

Мясники пришли в полном составе. Было и несколько «почетных» обывателей — дальних родственников. Но самыми почетными гостями на свадьбе были, несомненно, Пелта, Пантель и их компания, из которых каждый, кроме разве Пантеля, был в самом приподнятом настроении... Их голос чаще и громче всех раздавался

за столом, и не один из слабых обывателей (из числа «почетных») думал про себя:

«Что за силища-то!..».

Файвка-жених сидит на переднем плане в суконной шляпе, которая еле держится на его голове, и выглядит он так, словно благодать святая почиет на нем... Даже сам Ичелэ находит, что и его узнать нельзя.

За длинным столом сидят гости и курят лежащие на столе папиросы. Курят все — и курящие и некурящие. Разве это что-нибудь стоит? Папиросы эти стоят специально для жениха в большой коробке, но для подростков это просто наслаждение! То-и-дело подбежит кто-нибудь из них к коробке, выхватит несколько папирос и подбежит к тому углу, где стоят представители разных благотворительных и религиозных учреждений с тарелками для сбора пожертвований.

Слепой Гройнем вертится по комнате с большим подносом, и когда появляется новый гость, он несет ему навстречу кусок пряника, изготовления самой невесты, вместе со стаканом водки.

— Пей, братец! — кричит он. — Пей за здоровье жениха!

Приходит старый Шайка в длинном суконном сюртуке, настолько замасленном, что он скорее похож на атласный; в большой бархатной шляпе с широким днищем; с красным платком вокруг шеи. Еще стоя у дверей, он восклицает:

— Мазлтов! (С добрым счастьем.) Да будет вам на счастье.

— И вам счастья желаем! — отвечают ему.

Тут показываются два сиамских близнеца: Авремчэ, сын Велвеля, и Берче. Оба уже хорошенько нагру-

злись: они только что распили целых две бутылки у рыжего Эли.

Берче идет уже, согнулся в форме полулуния, но, подойдя к жениху, он выпрямляется, хлопает Файвку по плечу и восклицает:

— Файвка! Чтоб у тебя ноги подкосились. «Хослера» тебе от сего дня!..

Суматоха и протесты поднимаются среди благообразных евреев: что это за выражение на еврейской свадьбе — «хослера»?..

Черный Берель чувствует какую-то неловкость перед «почетными» евреями, потому что он сам ведь тоже спекулянт и... Он хочет сгладить впечатление от этой первой наглой выходки. Поэтому он встает и протягивает Файвке руку:

— Жених! Да будет вам счастье и удача в жизни! Да состаритесь вы в богатстве и в почете!

Файвка сконфузился за своего «пшиятеля»: «Вот так еврей? И пожелания посылает как полагается еврею!..».

И он хватает кусок печения из подноса Гройнема, и хотя Берель едва-едва смочил кончики усов, Файвка подает ему печения и ни с того ни с сего обращается к нему на «вы».

— Нате-ка, нате-ка! — говорит он. — Закусите, пожалуйста!

— Ну, братцы, запузыривай! — говорит Берче, опрокидывая стакан в рот и захлебываясь.

При этом он выпрыснул и брызнул водкой, как лошадь, затем он любовно обнимает Авремчу вокруг шеи, и, закусывая, оба направляются в соседнюю комнату.

Там, во второй комнате, теперь весело и оживленно.

Боруф-флейтист дует изо всех сил, и кажется, что щеки у него скоро лопнут. Цодка Маларж, служивший

при Николае, стоит с контрабасом, а высокий Ицка — он же могильщик — бьет в такт двумя жестяными кругами.

Танцующие девушки поминутно спотыкаются о выставленные вперед ноги женщин и девушек, стоящих плотно сжатым кольцом вокруг танцующих, — или же натыкаются на «бока» толстой Ханы-еврейки, похожей на бочку и наполняющей собою весь дом. Вот она, кажется, стоит посреди кольца, и кругом так тесно, что булавке негде упасть. А она — в один миг она уж высматривает уголок, куда можно пробраться, именно — возле невесты, которая стоит под белой фатой.

Жена Гройнема, подобно своему мужу, разносит по комнате большой поднос с печениями, но водочку она подает сладкую и притом в маленьких рюмочках: женщинам — полную рюмку, девушкам — только половину рюмки...

Наплясавшись и натерши себе вдоволь бока, девушки отдыхают.

Вот среди этих усталых и вспотевших девушек «работает» теперь Урка... Он точь-в-точь как эта толстая Хана, даже еще проворнее... Вот он, кажется, в одном углу, а вот вдруг выплывает в другом, среди двух девушек в белых выглаженных платьях... Он бегает среди них, как хорек среди кур. Некоторые девушки хватают его за шиворот и начинают бить по лицу и драть за уши; но он все топчется среди них, в толстой ватной куртке и отцовских сапожищах, и девушки стараются отодвинуться от него, опасаясь за свои платья и белые туфли. Но так как тесно и они не могут отодвинуться далеко, то предпочитают, чтоб их трогали, но лишь бы были спасены туфли и платья.

Вдруг все девушки оборачиваются к дверям мужской комнаты, и среди них поднимается такой галдеж, что

Борух-флейтист вынужден еще сильнее надуть щеки, а Ицка-могильщик — закусить губы, постукивая в свои жестянки.

— Ой, будут танцовать кавалеры с дамами!.. Кавалеры с дамами будут танцовать!..

Авремчэ, сын Велвеля, подмигивает целой куче девиц в красных блузах, но Берче не теряет времени зря. Он хватает и обнимает первую «пейсаховую вишневку» *, которая стоит к нему поближе, и отправляется с нею в пляс. Музыка теперь играет вальс, но Берче это нипочем: он сам подпевает себе и притоптывает сапогом, кружась с девушкой по комнате... А щеки «пейсаховой вишневки» расцветают и алеют и меняются в краске с такой быстротой, что никакой художник не успел бы схватить игру красок на ее лице...

Все уже успели не раз поплясать, а Берче все еще летит с ней по комнате, и кто знает, не вышла бы ли эта «пейсаховая вишневка» мертвой из его рук, потому что краска на ее лице, все больше и больше увеличивавшаяся и наконец достигшая высшей степени, так что хоть свечу зажги о ее лицо, — стала постепенно опадать, все бледнеть да бледнеть, пока не начала синеть, потом зеленет, наконец желтеть; но тут, на ее счастье, Берче зацепился за бока толстой Ханы и упал, таща за собой и свою партнершу.

В эту минуту Урка юркнул из угла, где он только что находился и, нагнувшись, пробивал себе головой дорогу к кружку танцующих, к «пейсаховой вишневке».

На мужской половине теперь тоже весело и оживленно. Молодежь делает складчину на несколько буты-

---

* Т.-е. раскрасневшуюся, как вишневка, девушку.
Прим. перевод.

лок пива, а представители разных обществ ставят свои тарелки с записочкой в каждой: в пользу «общества помощи невестам», «помощи приезжим», Талмуд-торы, «Лечения больных», «Погребального братства» и т. п., и т. п.

Парни, разгорячась от вина и пива, становятся на стулья, лезут через стол и пробираются на женскую половину танцовать...

Старшие — «пшиятели» — тоже подходят к дверям поглядеть, что там делается. Возле жениха осталось всего два парня — Ичелэ и Мендель. Пиня Григер, правда, тоже здесь, но он ведь не в счет...

Авремчэ, сын Велвеля, забегающий сюда на несколько минут, настаивает во что бы то ни стало, чтобы Пиня Грегер тоже пошел на женскую половину танцовать... Он хватает его за плечи, поднимает и толкает в эту шумную толпу мужчин и женщин... У Пини захватывает дух, и он начинает глотать слова... Но несколько девушек заводят с ним разговор о библиотеке:

— Скажите, пожалуйста, завтра будет собрание?

А жена Япаншика, женщина лет тридцати с лишним, веселая и разбитная, тычет ему пальцем в шею:

— Пинче! Когда уж загуляем на твоей свадьбе?.. — спрашивает она.

Девушки хохочут и ищут места, куда бы ткнуть голову. Одна только делает серьезную мину и, размахивая веером, спрашивает его:

— Простите, пожалуйста. Вы разве уже жених?

Это даже среди парней вызывает смех, который разливается по всему дому и долетает до жениха — это сигнал, что тут уже весело, как следует быть.

Сидит он, жених, за столом, и ноги у него сами поднимаются под столом, и им овладевает страстное желание потанцовать. Но ничего, Файвка, когда хочет, может найти средство для победы над демоном-искуси-

телем: он только потянет кончиком носа и ртом то в одну, то в другую сторону, и он уже усердно прислушивается к разговорам старших евреев, беседующих о временах Мессии...

Среди женского общества молодые люди оживают. Все, все уже здесь, и Мирка-одесситка тоже недавно здесь появилась.

— Файвка, чтоб ты сгорел! Выходи скорей танцовать! — раздается внезапно голос Берче. — «Матееха» здесь.

Жених снова конфузится, сердится и призывает на помощь Ичелэ:

— Иди-ка, — просит он его, — и скажи ему, чтоб его холера задушила! Чтоб огонь пожрал его мать!..

Ичелэ выбегает вперед и кричит во вторую комнату:

— Хлопцы! Как это оставляют жениха одного? Хлопцы, сюда!

Тогда Лейбель-мыловар, еврей в атласном сюртуке, полученном в наследство от отца, а может быть, и от деда, прерывает разговор о Мессии и обращается к Арону-квартирмейстеру:

— У тебя славный сын, — говорит он, — добропорядочный парень.

Гордостью наполняется сердце портного, и он уж лезет в боковой карман, чтобы выбрать несколько «бумажек», помимо тех, которые Ичелэ всегда носит с собою... Он уже готов снова начать рассказ о коменданте, у которого порвалась шинель...

Но тут в комнату вдруг врывается целая ватага молодых людей: явилось в полном составе все правление библиотеки, которого уж и не ждали совсем.

Все евреи задирают головы и глядят с уважением на этих нескольких молодых людей в шляпах, которые

чинно садятся и каждый раз, отведав чего-нибудь, посылают жениху добрые пожелания. Затем они начинают распевать песни... Некоторым пожилым евреям нравятся эти мелодии — они их быстро перенимают и поют вместе с молодежью!.. Затем только распускается во всем блеске своего таланта Ичелэ и, по требованию Авремелэ, начинает «диклимировать», отчего евреи в бархатных шапках приходят в полнейший восторг и облизывают пальчики...

Так оно продолжается до тех пор, пока не приходит свадебный шут; он становится на скамейку и начинает импровизировать по адресу жениха и невесты, распевая свои стихи таким заунывным голосом, что всем становится грустно на сердце, а женщины вытирают платочками глаза и всхлипывают вслух:

Ой, жених, жених! Твоя судьба в грядущем слепа и темна!
Твоя жизнь до сих пор была грехами полна.

Так «воспевает» Файвку «бадхен» *, знающий уже, на каком слове поставить ударение... затянуть какое-нибудь слово долго-долго, с особенным усердием, с особенным подчеркиванием...

И многим не по себе под суконными рубахами, и молодым людям начинает казаться, что это они виновники всех бедствий, творящихся на свете... Вот такой Лейбиш, например, — что он собою представляет? Соломинку!.. Только подуешь — и нет ее!

«Да, да, послал тебе бог войну... есть у тебя шмугель... А не хочешь, так что же тебе, братец, остается делать?.. С'есть свои несколько марок?.. С'есть вместе с лошадьми?..»

---

* Свадебный шут, скоморох, импровизатор, автор народных игр и сам актер. *Прим. перевод.*

Ой жених, жених! Каждую минуту
Опасность приходит вновь —
Опасность потерять жизнь,
Пролить свою кровь».

«Хи-хи-хи! Кто еще знает и чувствует это так, как они? Кто? Кто еще? Разве они не переживали опасностей на каждом шагу?.. И разве «он» не делал, что его душе угодно?.. Эх, этот немец!.. А теперь?.. А дальше что? Что теперь станешь делать? Съесть свои несколько марок вместе с лошадьми?..»

У Менделя время от времени появляются еще приступы головной боли, но он чувствует, что эта боль постепенно все уменьшается. Да! Он выздоравливает! О! Он уже немало передумал об этих «предметах»... Теперь только он видит, сколько греха — да, сколько греха! — зарыто в его голове, там, где рождаются мысли, где они растут и снова исчезают... Да, да, он уже знает, что мысли могут также исчезать, что их можно потерять...

И вот он стоит теперь возле двери, возле которой толпятся женщины, и видит Ривчу. Ее красивое зардевшееся лицо представляется ему светлой утренней зарей, показывающейся на востоке с первыми лучами солнца... Две каштановые косы, спускающиеся на ее грудь, переброшенные через плечи, кажутся ему ветвями того высокого дерева, которое одиноко стоит вдали от леса, когда через ветви заглядывают солнечные лучи в сухой осенний день, и они разливают целые потоки золотого света...

Мендель стоит и чувствует, что глаза у него становятся влажными, но на сердце и в голове так легко, так хорошо...

Но вдруг, что это?.. Не видит он разве Хаима Шевцока?.. И в то время, как бадхен поет в честь жениха,

раздается внезапный крик, и Хаим-сапожник падает на бок с подбитым глазом...

Под шум и крики Пантель, возбужденный и взбешенный, подходит к Менделю. Теперь, в средине «воспевания» жениха драться... Мало и без того нагрешили? А?

Но Мендель припадает к отцу и обнимает его:

— Отец, давай сегодня устроим помолвку с Ривчей, — говорит он.

Пантель тотчас же оживляется, и сердце его наполняется радостью:

«Значит, Мендель все ж таки становится снова человеком, как следует быть... Он ведь раньше об этом и слышать не хотел... Да, братцы, да!..».

— Малка! — зовет он свою сестру. — Малка, мы еще сегодня отпразднуем помолвку.

Галдеж поднимается среди девиц, а Ривча покрывается румянцем, как тогда, когда она ответила Менделю, что только его она любит... И у Пантеля настроение веселое и приподнятое... Где там хоть воспоминание о грехе? Кто?.. Кто грешен?.. А дальше?.. Дальше что?.. Не унывай, братцы!.. Не унывай!..

— Слышите? — гремит его голос. — Сегодня мы пишем свадебный контракт! А что касается заработков, то не унывай, брат!.. Вы слышите?.. Я, Пантель, говорю вам: спекуляция теперь только и начнется, — настоящая спекуляция! То, что было до сих пор, была лишь детская игра!.. Подумаешь, что за важность была — спекулировать? Но теперь, братцы, теперь...

— Эх, Пелта, Пелта! — обнимает он вдруг Пелту, и голос его становится все мягче. — Эх, брат Пелта!

И они оба уж в об'ятиях друг друга... И к ним прислоняется еще голова Гройнема, а затем голова Янке-

ля... Но Янкель глядит уже стеклянными глазами, словно сквозь сон.

— Слишите, братцы? — вдруг еще громче раздается голос Пантеля. — Я, Пантель, говорю вам: теперь начнется настоящий «шмугель»... что называется!..

Парни вскинули захмелевшие головы, и пьяные глазки загорелись таким огоньком, словно они увидели вдруг в Пантеле какое-то дикое чудище, но пророчествующее сокровенные, таинственные великие истины, еще недоступные человеческому уму... Тут уже сам жених не мог дольше владеть собою и как бы желая высказать то, что все теперь понимают и чувствуют, он затянул спекулянтскую песню — песню песней, песнь всех спекулянтов...

Но Мендель вдруг — бог весть отчего, может быть, потому, что песнь Файвки напомнила ему об этом — заметил Начу, сидевшую в женской комнате, в уголке... Она была одета в «краковяцкий» костюм, и голову опустила на грудь, уткнувшись головой в целую кучу цветных лент и больших круглых монист... В его памяти проснулись воспоминания о тех временах... тех днях... тех вечерах...

Спазмы стали душить его, и им овладело безумное желание вскрикнуть громко, во все горло, всеми силами:

— Нача!.. Нача!..

В глазах его потемнело, потом завертелись какие-то красные круги, и все это стало кружиться и вертеться, как в бешеной пляске... И почудилось ему, что все держат головы опущенными на груди, уткнувшись в целые ряды лент и монист... Потом ему представилось, будто все вдруг исчезает, и в комнате остаются только ленты да мониста, ленты и мониста,

и кружатся они с невероятной быстротой, блестят, расцвечиваются...

Внезапно лицо его бледнеет, вся кровь отливает от лица — и вот он уже летит и кружится в каком-то хороводе, и вдруг он сам превращается в связку лент и монист...

А из уст мужчин все громче и громче, все шире и шире лились слова спекулянтской песни, и они светлым взором, с высоко поднятыми головами, глядели вперед — в будущее...

КОНЕЦ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ

МАЛЬЧИК МОТЛ

Перевод Б. Маршака. Предисловие И. Нусинова

Стр. 256. Ц. 1 р.

ШОЛОМ АШ

МОТЬКА-ВОР

(Печатается)

Герой романа Мотька-вор, — жертва социального уклада современности,— естественно и неизбежно вырастает в героя-мстителя, но мстителя индивидуалиста, сообразно условиям породившей его среды. Убедительная по своей жизненной правдивости трагическая история Мотьки-вора, не остановившегося перед убийством, заканчивается весьма интересной по своей неожиданности развязкой.

Л. КАРМЕН

НАКАНУНЕ

Рассказы

Стр. 186. Ц. 1 р. 50 к.

Продажа во всех магазинах и отделениях Госиздата.

Ц. 1 р. 50 к. Перепл. 20 к.

HECKMAN
BINDERY INC.
DEC 92
N. MANCHESTER,
INDIANA 46962

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00008295506